СЕРГЕЙ АНИСИМОВ

КАК ЭТО БЫЛО

ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН
— МОСКВА 1931 —

СЕРГЕИ АНИСИМОВ

КАК ЭТО БЫЛО

ЗАПИСКИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗАЩИТНИКА
О СУДАХ СТОЛЫПИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
1 9 М О С К В А 3 1

Уполномоченный Главлита № В 2369 Тираж 5 000 экз
Типография газ. „ПРАВДА", Тверская, 48.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литературно обработанный материал С. Анисимова представляет весьма занимательное чтение с историческим уклоном.

Внимание читателя захватывается фактами, нашумевшими в свое время не столько своей революционной значимостью, сколько подлостью военно-следственных инсценировок и комедий судов «висельной юстиции» столыпинской эпохи.

Таковы записки автора о Кутарбитской истории, повествующей о творимой легенде «боя» между конвоем и арестантами,— легенде, выдуманной старшим конвоиром в оправдание своего преступления, которое заключалось в организованном убийстве 22 арестантов на деревенском этапе.

Сюда же относятся еще две записки Анисимова, из коих одна передает инсценировку следствия и суда над Рапопортом — мнимым убийцей екатеринославского генерал-губернатора Желтоновского, а другая представляет картину суда над Рогожиным, — таким же мнимым убийцей начальника Тобольского централа — Богоявленского.

Как уже сказано мною, эти три очерка написаны очень занимательно и литературно, но, к сожалению, в них нет попытки классового анализа царского суда и военно-полевой юстиции, точно так же, как нет разбора и политических убеждений или позиций обвиняемых.

Очевидно, это было трудно сделать автору неопределенных политических убеждений. Но вот перед нами более серьезные дела, — это записки защитника о суде над революционными рабочими дружинами, захватившими в 1905 г. всю Екатерининскую жел. дор., по обе стороны которой на целом ряде заводов происходили вооруженные столкновения рабочих с правительственными войсками. Дальше следуют записки автора о судебном процессе, возникшем в результате бунта арестантов в Тобольской каторжной тюрьме.

Оставляя этот процесс тобольских каторжан в стороне, отметим, что он написан не плохо и дает действительное представле-

ние о борьбе социализма с реакцией. Автору удалось ознакомить современного читателя с порядками в каторжной тюрьме царского периода, толкнувшими людей на отчаянный протест. Он сумел показать, как мужественно держали себя люди, обрекшие себя на борьбу, которую они продолжали и в неволе.

Что касается восстания на Екатерининской жел. дороге, то автору необходимо было сказать нечто большее, чем он сообщает. Если бы Анисимову удалось дать классовый анализ событий революционной борьбы, пожаром охватившей весь юг не только по линии Екатерининской жел. дороги, но и во всем пролетающем заводском районе Криворожья и Донбасса, его работа явилась бы ценным вкладом в историю 1905 г., но, к сожалению, автор увлекся другим. Защитнику-радикалу оказалось не под силу то, что ему удалось в изображении интеллигента Тахчогло. При зарисовке массового процесса, где фигурировали почти исключительно рабочие, нужно было отметить классовую подоплеку всего процесса, а не мелочи в роде молитвы в церкви, явно инсценированной с целью избежания смертного приговора. Ему понадобилось другое, а именно: задним числом показать и доказать, что царский суд, нарушая всякие божеские и человеческие законы, а главное судебные процедуры, дробил кости революционеров с беспримерной жестокостью и опять же незаконно. Коротко говоря, автор красочно повествует, как генералы чинили суд и расправу над невинными, причем бездушие этих господ доходило до того, что после вынесения смертных приговоров они позволяли себе даже ходить на балы, играть в карты и спокойно носиться в вихре вальса с «молодыми барышнями». В этом смысле палитра автора очень сочна, но он сам не видит, что говорит прозой. Классовая позиция военных юристов — «победителей» иной и быть не могла, о чем «уж сколько раз твердили миру».

Однако, чтоб убедительней была подлость военно- полевой юстиции, творившей суд даже над невинными, Анисимов прибегает к своеобразному приему, он чуть ли не всех обвиняемых превращает либо в невинных младенцев типа Рапопорта, либо в обывателей. В обывателей он превратил всех дружинников, действовавших с оружием в руках по всей Екатерининской дороге на ст. Горловка, Енакиево, Екатерининская и т. д. В его изображении все эти обыватели «не ведали, что творят», а вот столыпинская юстиция через 3 года вынесла 32 смертных приговора политическим младенцам. Нет сомнения, что среди судившихся были и обыватели, но смысл исторической записки бывшего защитника приобретает иной характер, когда знакомишься у него

же с поведением подлинных революционеров, знавших, что они делали.

Анисимов несомненно талантливый литератор и, очевидно, был не плохим политическим защитником. Однако, ежели он своих подзащитных представлял в свое время обывателями перед судом, то это дело простительное и понятное, но теперь перед судом истории и пролетарским судом — это уже дело другое и... в значительной степени искажает историческую действительность. Между тем сообщаемые автором факты несомненно заслуживают внимания читателей. Нужно только иметь в виду, что вся работа Анисимова пропитана либерализмом с начала до конца.

Конечно, Анисимов — радикал в хорошем смысле: в нем много человеколюбия в духе толстовского всепрощения и отсутствует звериная ненависть к пролетарской революции, которую он принял. Его нельзя сравнить с теми «радикалами», которые в знаменитых «Вехах», благославляя штыки и тюрьмы царского правительства, как средство защиты «интеллигенции» от «народа», продемонстрировали в качестве идеологов буржуазии лютую ненависть к пролетариату, ту зоологическую ненависть, в которой захлебывается разложившийся в конец либерализм эмиграции.

В прошлом Анисимов выступал на судах не только как политический защитник, но он умудрялся превращать процессы против революционеров в суд над «шемякиными судьями», как, например, это случилось в деле о Кутарбитской трагедии. Однако, как истый всепрощенец, он находит искры божьи под мундирами и некоторых бывших военных судей-генералов, он отдает им должное, как компетентным юристам (таков, например, генерал Кригер), а других бичует, как бездушных манекенов, карьеристов и т. д.

Однакоже, не в этом суть. Приходится, конечно, сейчас недоумевать при чтении некоторых ламентаций автора, возмущенно протестующего против смертных приговоров, подтвержденных Столыпиным и конфирмованных бар. Каульбарсом, точно от этих прожженных помещиков-палачей можно было ждать чего-то другого в отношении своих классовых врагов. Автор по простоте душевной пытается задним числом иронизировать над Столыпиным, «будто бы» не заметившим, что в докладе Каульбарса имеется 8 смертных приговоров. Эта ирония неуместна, ибо мы знаем, что все это было столь же в порядке вещей, сколько и лицемерие «спешного думского запроса» по поводу суда и приговора в Екатеринославе, и прохождение этого запроса волокит-

ным порядком, и «опоздание» телеграмм, пришедших после казни восьми.

Автору и невдомек, что и судьи, и Кульбарс, и вся черносотенная царская общественность одним миром мазаны и иного исхода процесса и не хотели. Поэтому зеркало автора оказывается несколько кривым и затемняет основную расстановку сил того времени, в частности на Екатерининском процессе. Нет сейчас нужды превращать рабочих дружинников в обывателей и отдавать должное лишь 8 человекам, погибшим на эшафоте. Этим искривляется действительный смысл событий генеральной репетиции.

Надо помнить, что 1905 г. был огромным этапом истории не только русской, но и мировой революции, где героем был или были не милые сердцу автора отдельные «симпатичные личности», хотя бы и крупные революционеры, а «его величество пролетариат» и взбунтовавшееся крестьянство, а это требует, кроме палитры, и иных приемов зарисовки, при которых резко чувствуются линии, отделяющие класс от класса.

И все же, при всех недостатках, талантливые, литературно обработанные очерки Анисимова должны стать достоянием читающей массы, которая в наше время, легко разберется в подлинной ценности нарисованной автором картины прошлого и в ее второстепенных трактовках, оставляемых нами лишь в целях сохранения общего стиля автора.

Я. Шумяцкий.

ОТ АВТОРА

Больше восьмидесяти раз я выступал защитником в военных судах и был свидетелем, как после роспуска Первой Государственной Думы в течение всего премьерства Столыпина правительство последовательно давило на военных судей, подстрекая их на беспощадность циркулярами и отставками.

В Екатеринославе, где мне особенно много приходилось выступать, временные военные суды заседали без перерывов целыми месяцами, и бывали случаи, когда по три военных суда работали одновременно. С 1906 по 1910 год в этом городе было повешено по их приговорам 216 человек [1] на балках пожарного сарая при 4-й полицейской части, не считая казненных военно-полевыми судами. В эту эпоху правительственные люди много лет подряд ежедневно пускали в ход «работу виселиц», перемешивая политические расчеты с карьерными. И это творилось в интересах правящих классов и прислуживавшей им самодержавной власти.

Эта книга на примерах наиболее трагичных дел, в которых мне приходилось защищать, раскрывает перед читателем работу военно-судебного аппарата Столыпина.

---

[1] Подсчет этот был произведен в камере прокурора Екатеринославского окружного суда, по просьбе автора, уже в 1917 г., по отметкам об исполнении приговоров

ДЕЛО О НАПАДЕНИИ НА КОНВОЙ НА ЭТАПЕ В ДЕРЕВНЕ КУТАРБИТКА, ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА.

I

Вот подлинный документ:

«Приказываю по конвойным командам от 30 октября 1907 г., за № 6, об объявлении высочайшей благодарности командирам и офицерам и царского «спасибо» нижним чинам 9-го сибирского резервного Тобольского полка за доблестную службу».

«Предписываю» объявить нижним чинам вверенной вам конвойной команды высочайшую его императорского величества резолюцию на всеподданнейшем докладе управляющего военным министерством о доблестной службе конвоя 9-го пехотного сибирского резервного Тобольского полка и подробно ознакомить нижних чинов с геройским подвигом старшего унтер-офицера Покасанова, а также прочих чинов конвоя, объяснив конвоирам необходимость самого внимательного и вдумчивого отношения к их службе, для своевременного предотвращения опасности как побега арестантов, так и нападения их на конвой.

«Командующий Отдельным корпусом жандармов препровождал к начальнику Главного штаба копию с донесения начальника Тобольского губернского жандармского управления о нападении арестантов на конвой в деревне Кутарбитке, Тобольской губернии.

«Из этого донесения видно, что 22 минувшего сентября [1907 года] партия арестантов в числе 33 человек, из которых четыре человека были политическими преступниками, а все остальные уголовными, под конвоем из 18 нижних чинов 9-го пехотного сибирского резервного Тобольского полка, направлялась к деревне Кутарбитке. Означенная деревня находится в 54 верстах от Тобольска, состоит из одной большой улицы —

проезжего тракта, и в конце ее совершенно обособленным находится помещение этапа.

«Это помещение, аршин в двадцать длиною, состоит из сеней, узкого коридора, по сторонам которого расположено по две камеры с выходами в этот же коридор, и второго выхода — в другом конце коридора; здание обнесено высоким бревенчатым забором, в котором имеется одна калитка.

«Во все время пути арестанты вели себя в высшей степени образцово, так что исключалась возможность подозревать их в злом умысле. По приходе на этап они разместились в двух задних, а солдаты в двух передних камерах. Между дверями двух арестантских камер находился внутренний часовой, наружный же был на улице, у забора.

«Около десяти часов вечера на этапе была тишина; несколько солдат пили чай, другие легли спать, арестанты также притихли, только из одной камеры в другую иногда выкрикивали несколько слов по-еврейски, которых часовой-русский разобрать не мог. Вдруг в одной и другой камере раздалась команда: «раз, два, три», и все арестанты налегли туловищами на двери. Моментально двери были взломаны, и арестанты набросились на часового в коридоре. К ружьям бросились солдаты, к ружьям же бросились и арестанты. Началась ожесточенная схватка.

«— Бейте старшего, прочие сдадутся! — раздалась команда кого-то из арестантов.

«— Ребята, бей чем попало, не сдавайся!— кричал старший конвойный, младший унтер-офицер Степан Покасанов.

«С него был сорван мундир, в двух местах прострелена фуражка, и, в борьбе, о чью-то голову он отбил приклад винтовки.

«От выстрелов погасли лампы, на дворе стояла совершенная темь. Вспыхивал огонь при выстреле и на мгновение только освещал коридор.

«Силы противников были неравны: при вдвое большем количестве арестантов, они уже владели девятью винтовками, как это выяснилось при подсчете впоследствии, но солдаты не теряли мужества; голос молодца и героя унтер-офицера Покасанова непрерывно раздавался в темноте, вселяя в них бодрость. И впоследствии солдаты сознавались, что не будь Покасанова, они все бы погибли.

«Арестанты бросились к дверям коридора, во двор, и некоторые к калитке. Наружный часовой уложил троих на месте, но некоторые все же, пользуясь темнотой, проскользнули; некоторые, несмотря на кандалы, бросились на забор. Рядовой

Котухов, у которого была вырвана винтовка, бросился во двор; здесь, увидев лезущего на забор арестанта, которому мешала винтовка, он крикнул ему: «Товарищ, дай-ка винтовку, я тебе помогу». Арестант в темноте, приняв его за товарища, винтовку отдал и полез, но был снят штыком с забора и там же лег мертвецом. Другой солдат, также оставшись без винтовки, схватил кусок железа, с поларшина длиною, и начал им действовать. Схватившийся с ним арестант был положен на месте, рука его поднята кверху, немного выше локтя высовывается раздробленная кость, а кисть руки с растопыренными пальцами валяется в нескольких шагах от трупа.

«В редко-тяжелой двухчасовой борьбе солдаты одержали верх, уложив мертвыми 22 арестанта, солдаты же получили только штыковые раны: пять солдат легкие поранения, и рядовой Ульян Тарасенко колотую рану в живот, от которой и скончался 24-го числа.

«Выбежав на улицу, арестанты открыли беспорядочную стрельбу, настолько напугавшую население, что только утром некоторые из крестьян отважились выйти из дому, чтобы узнать о происшествии на этапе. Арестантов бежало 11 человек, унеся с собой 9 винтовок, 60 патронов, шинель, мундир и несколько фуражек. Спустя сутки было поймано три арестанта и найдено пять винтовок. Крестьянское население принимает участие в поимке других арестантов, прячущихся в лесах.

«Население отдает справедливую дань удивления и восторга пред действиями героев нижних чинов, своею отвагой предупредивших, быть может, целую сеть насилий и убийств, если бы арестанты одержали верх в борьбе и начали с оружием в руках добывать себе в деревнях и на дорогах средства к существованию.

«На всеподданнейшем о сем докладе его императорскому величеству было собственноручно начертано: «Объявить мое душевное спасибо Покасанову и всем конвойным и мою благодарность командиру и офицерам 9-го пехотного сибирского резервного Тобольского полка, воспитавшим подобных молодцов, истинных русских солдат».

Главный инспектор пересылки арестантов
генерал-майор Лукьянов»,

---

[1] Этот замечательный документ мне указала Е. Д. Никитина. Напечатан он в «Тюремном Вестнике» за 1907 г.

II

Из одиннадцати бежавших в ближайшую неделю частью были пойманы, а частью явились добровольно к властям девять человек. Еще один был убит при поимке, и только один был так вынослив, что ему удалось скрыться, или, быть может, он замерз где-нибудь в лесу или погиб от голода. Все девять по разным проселочным дорогам были доставлены в Тобольск, в губернскую тюрьму, и здесь все вновь соединились в общей камере с одним окном, которая вскоре по их посадке получила название «смертной».

Раненый конвойный Тарасенко через два дня, 24 сентября. умер в доме старосты, во время допроса его жандармским ротмистром, производившим дознание. Умер он так тихо, что никто не заметил момента его смерти. Между тем, в следственном материале имелось его подробное показание о происшествии на этапе, совершенно тождественное, почти слово в слово, с показаниями остальных конвойных.

Конвойный, рядовой Котухов, по распоряжению Покасанова. отвез труп Тарасенко в Тобольск на обывательской подводе, меняя ее в каждом попутном селении, так что 54 версты протащился два дня. В Тобольске же гроб Тарасенко заменили новым, обитым серебряным глазетом, поместили в соборе и нарядно убрали гирляндами и цветами.

Хоронили его торжественно, с оркестром музыки. На похоронах был весь полк с командиром, со всеми офицерами, приехал на похороны и губернатор. Под музыку похоронного марша пышная процессия растянулась на всю улицу. За нарядной группой офицеров и чиновников следовали длинной вереницей экипажи с дамами и городской публикой. Впереди, когда смолкала музыка, пел архиерейский хор. Совершал отпевание сам архиерей и произнес в церкви речь. Часто повторяя слова «враги отечества», архиерей сказал, что Тарасенко геройски исполнил свой долг перед богом, перед царем, перед родиной и перед людьми, и за это ему будут прощены все грехи и сотворена вечная память.

Когда вышли из соборной церкви, полковой командир вызвал из рядов солдат Покасанова и подвел его к губернатору.

— О тебе доложено, и ты тоже получишь награду,— поощрял его губернатор.

— Рад стараться,— отозвался Покасанов.

В конце октября в Тобольске был военный парад. С участием архиерея служили благодарственный молебен, и после него пе-

ред фронтом объявили «душевное спасибо» царя Покасанову и всем конвойным и благодарность командиру и офицерам 9-го пехотного сибирского резервного Тобольского полка. По поводу этого события солдаты были освобождены на три дня от ротных занятий. Их лучше кормили в эти дни, в обед давали по крышке водки, а в офицерском собрании, убранном флагами и гирляндами хвои, был по этому случаю бал. До глубокой ночи играла музыка, шли танцы, и за ужином пили за здоровье Николая II.

III

Я получил копию обвинительного акта по Кутарбитскому делу всего за несколько дней до суда. Мне послали ее в Тюмень, где я жил тогда в ссылке [1], товарищи из Тобольска, получившие ее частным путем из камеры прокурора. Сами подсудимые сидели в полной изоляции, без всяких свиданий, и обратиться за защитой ни к кому не могли.

Никакого материала для защиты мне тоже не сообщали. Кроме официальной версии никому вообще ничего не было известно. Но товарищи были убеждены, что в ней много лжи, и советовали мне поехать на место, в Кутарбитку, произвести там «свое следствие», найти необходимых для суда свидетелей,— словом, явиться в Тобольск на суд со своим собственным вооружением и снаряжением и в виде фактического материала, и в

---

[1] Я был выслан в Тобольскую губернию административным порядком из Курска, где начал свою деятельность политического защитника с аграрных процессов. Ссылку мне пришлось отбывать сначала в городе Ялуторовске, затем в Тюмени.

Едва я приехал в Тюмень, как мои товарищи по заключению в Тюменской тюрьме, железнодорожники, судившиеся за декабрьскую забастовку 1905 года, и члены Тюменского комитета с.-д., обратились ко мне за защитой их в выездной сессии в Тюмени Омской судебной палаты с сословными представителями. Хотя от ссыльных, по правилам о гласном надзоре, отбиралась тогда подписка о том, что им воспрещается всякая общественная деятельность, в том числе, конечно, и адвокатская, я решил выступить.

Прокурор заявил в судебном заседании отвод против меня. Я возражал, что нахожусь в ссылке административным порядком, не ограничен в правах по суду и состою в сословии присяжных поверенных, и ссылался на Устав уголовного судопроизводства, по которому не допускались к защите только лица, лишенные прав или ограниченные в правах по суду. Правила о поднадзорных, утверждал я, суда не касаются. За их нарушение меня может преследовать администрация.

Судебная палата стала на почву закона, и я защищал в эту сессию и тюменский ж.-д. комитет, и с.-д. комитет, и комитет крестьянского союза. Тобольская администрация меня не тронула. Дальше, сколько я ни выступал в палате и в военных судах во время своей ссылки, ни один прокурор не заявлял отвода против моей защиты.

виде живых свидетельских показаний, так как сами они ничем вооружить меня для защиты не могли.

Не медля ни одного дня, я выехал в Тобольск, где 3 ноября должен был защищать перед тем же Омским военно-окружным судом группу политических каторжан по делу о бунте в Тобольской каторжной тюрьме № 2, а 7 ноября защищать политического ссыльно-поселенца И. Ф. Рогожина, обвинявшегося в убийстве начальника тобольских каторжных тюрем Богоявленского. Третьим шло дело в Кутарбитке.

От Тюмени до Тобольска — 263 версты по Великому сибирскому тракту. Кутарбитка находилась на 209 версте от Тюмени. Я ехал в санях, в кошевке, на тройке бойких сибирских лошадок, нигде не задерживаясь, останавливаясь только для перепряжки. Санный путь только что установился, и по сторонам дороги сверкали снежные просторы. Дорога то вилась среди широких поскотин, то входила в лесные просеки, с могучими пихтами-великанами, усыпанными хлопьями снега.

Когда среди этой красоты лесов и полей я, лежа в санях, перебирал в памяти фразы обвинительных актов по всем трем названным делам, незаметно выученным уже мною наизусть, то ложь их как-то сама перла наружу из жестоких слов этих трех документов.

До Кутарбитки я добрался меньше чем за сутки, проехав больше двухсот верст, но мне казалось, что лошади не бегут, а топчутся на месте. Когда моя кошевка двигалась под вечер мимо этапного здания, стоявшего шагах в двухстах от дороги, я увидел у калитки часового с ружьем. Там уже опять ночевал этап в эту ночь.

Я подъехал к крайнему, недостроенному двору, где жил с семьей политический ссыльный из солдат, крестьянин Чернецкий [1], с помощью которого я решил произвести в Кутарбитке свое следствие и добыть материал для раскрытия действительного содержания этой кровавой драмы. Хотя я и не успел предупредить Чернецкого, но он встретил меня, как давно жданного, нужного человека или даже как друга, приехавшего помочь ему.

— Скажите, неужели правда: им грозит казнь?—волнуясь, спрашивал он, едва я вошел к нему.

Я объяснил, что обвинение предъявлено по дикой 279-й статье, которая не знает иного наказания, кроме казни. Все власти думают, что они будут казнены, и раз суд осудит, со-

[1] Этой фамилией его называли в переписке со мной тобольские товарищи; по документам он — Прилуцкий.

мнения нет, что их уже не помилуют,— повесят сразу девять человек.

— Я надеюсь только на вас,— сказал я,— я хочу верить, что мы расследуем это дело, найдем свидетелей, показания которых спасут их.

— Я почти что ничего не видел своими глазами, но я знаю все,— отозвался Чернецкий.

— Я все расскажу на суде,— говорил он, хватаясь руками за голову.— Лишь бы только мне поверили. Я ведь уже ездил в город к следователю, хотя он не вызывал меня. Но следователь отказался допросить меня и отослал домой, сказав, что дело уже отослано прокурору. «Пишите,— говорит,— если хотите, прокурору, а меня оставьте в покое». Так я ни с чем и уехал.

Затем Чернецкий рассказал мне, что мимо них проехал на трех тройках военный суд, и он не знает, что ему делать, хотел повидать судей и рассказать им, но не удалось.

— Скажите, что нужно, я все сделаю,—говорил Чернецкий.

Мы стояли с ним у стола в тесной избе, а в углу, у кровати, стояла жена Чернецкого, опрятная, еще молодая, но изможденная женщина. У ее юбки жались дети, рассматривая нового человека в огромной дохе.

— Помогите только мне, и я раскрою на суде все дело,— просил Чернецкий, когда мы сидели у стола, за самоваром, и подробно разбирали все, что он видел, что он знал и о чем он слышал от других по этому делу. И чем дальше он рассказывал, тем страшнее становилось дело.

IV

По сибирскому тракту, между Тюменью и Тобольском, шел этап. Стояла поздняя осень, сухая и морозная, когда снегу еще не было, и уже все было мертво и оголено, а земля и небо так мрачны. Партия, как полагается, каждое утро выступала на рассвете из этапных помещений, и делала верст по двадцать в день, до следующего этапного здания. Арестанты шли вереницей, вперемежку с солдатами. Слабые присаживались на подводу.

Обычно к полудню добирались до следующего этапа, входили в него и заставали там дым и холод, так как этапные помещения топились только в дни прихода партий, два раза в неделю. Грелись, покупали у крестьянок и готовили себе пищу, возились, кричали, ссорились и только к вечеру затихали. Спали вповалку на нарах, а частью и на полу, в полутьме коптящих

ламп, в духоте, а наутро вставали и шли дальше по замерзшей дороге, среди обнаженного леса и пустых поскотин.

Партия, как указано в приказе, состояла из тридцати трех арестантов-мужчин и восемнадцати конвойных солдат. Ни женщин, ни детей не было.

Когда этап вытягивался длинной вереницей по дороге, то впереди всегда оказывался каторжанин-аграрник Гудзий. Это был молодой крестьянский парень, сильный, здоровый, с русыми усиками и чистыми, смелыми глазами. Ему шел всего только двадцать второй год. Он был осужден к казни, заменной при конфирмации приговора двадцатью годами каторги, за убийство двух молодых солдат-башкир из воинского отряда, присланного усмирять его родную деревню после погрома соседней помещичьей экономии. В тюрьме Гудзий сблизился с политиками. В этапной партии он образовал около себя отдельную группу, всего в составе четырех человек, покупал для нее пищу, возился с варкою обеда, устраивал ее при ночлегах.

Другой политический каторжанин в партии тоже был крестьянин — Тиняков. Он был призван в войска осенью 1905 г. и участвовал в восстании той роты, куда он был зачислен. Рота отказалась повиноваться офицеру, вышла со двора казармы на улицу с оружием, с красными флагами, на которых был лозунг: «Долой самодержавие». В статейном списке Тинякова значилось, что он был присужден военным судом к смертной казни «за явное восстание в числе более восьми человек», и что казнь ему заменена бессрочной каторгой.

Около Гудзия держался еще один политический каторжанин. Абрам Назарьянц, совсем юный, красивый армянин, сын священника. Он учился в гимназии, шел весьма плохо, к семнадцати годам добрался до четвертого класса, живя в пансионе. Режима своего пансиона Назарьянц не выдержал, убежал, примкнул к экспроприаторам и по их поручению возил взрывчатые вещества и бомбы из города в город в ручной багажной корзинке. Больше года дело сходило благополучно. Но, наконец, он был арестован на вокзале в Одессе, при чем в его ручном багаже было два снаряда. Бросив их и отстреливаясь при аресте, он, к счастью, никого не ранил, и поэтому был не казнен, а осужден на двадцать лет каторги. Общительный, веселый нрав Назарьянца, сохраненный им в тюрьмах и в этапе, вызывал общую симпатию к нему.

Четвертый политик в партии был худой, длинный, шестнадцатилетний мальчик-гимназист, поляк-католик Стась, как звали его все в этапе. Он был выслан административным порядком,

властью временного генерал-губернатора, «за участие». Высылка была предпринята массовая, и Стась попал под нее потому, что часто попадался на глаза филерам на всех массовках и нелегальных собраниях. Стась был религиозен до исступления и не расставался с карманной книжкой молитвенника, с евангелием с золотым крестом на крышке переплета. В этапных помещениях ежедневно подолгу молился, стоя где-нибудь в углу на коленях, со своей книжкой в руках. Таков был этот «политик».

Больше политиков в партии не было. Среди остальных двадцати девяти человек самую яркую и резко обособленную группу в этапе составляли восемь давних уголовных каторжан, осужденных за разбой, убийства, грабеж, изнасилования и т. п. Эта группа командовала всей партией. Ее власть в этапе была почти неограниченна.

Они всегда имели деньги, взысканные с остальных арестантов. Ежедневно по вечерам пили водку, играли в карты, постоянно грозили побоями всем нарушителям их обычаев. На этапное передвижение они смотрели как на праздник в своей долгой и однообразной каторжной жизни, и старались его по-своему использовать.

Было в партии три крестьянина Тобольского уезда, возвращавшихся этапом на родину «за бесписьменность», т.-е. за неимение при себе паспортов. Совсем случайные люди в тюрьмах и на этапе, они держались особняком.

Десять уголовных арестантов шли в Тобольскую губернскую тюрьму отбывать наказание за кражи и другие небольшие дела по приговорам мировых судей.

Четверо «следственных» препровождались на допрос к следователю по делу об убийстве из-за семейных раздоров.

Еще группа в пять человек представляла уголовных ссыльно-поселенцев или сибирских бродяг, пересылавшихся в места их приписки, в села Тобольского уезда, за самовольную отлучку.

На двенадцатый день по выходе из Тюменской тюрьмы, 22 сентября 1907 года, партия прибыла на этап в деревню Кутарбитку, где полагалось сделать дневку. Все нетерпеливо ждали этого отдыха. Старшой Покасанов сообщил, что этапщик в Кутарбитке хороший мужик: дров общественных не ворует и топит на совесть.

Когда вошли во двор, Покасанов запер ворота и пропустил всех в помещение этапа мимо себя по одному, проверив всю партию. Арестанты заняли две задних камеры с железными решетками в окошках, пробитых под самым потолком. Левую.

меньшую, заняли Гудзий, Тиняков, Назарьянц и Стась, крестьяне, возвращавшиеся на родину за бесписьменность, и четверо следственных. Правую, большую, захватила группа каторжан с состоявшими при них уголовными арестантами.

В передней камере, предназначенной для конвоя, солдаты составили свои ружья в пирамиду, развесили зарядные сумки и шинели.

В четвертой камере, кухне, где были навалены дрова, развели огонь в очаге, и там все вместе — и солдаты, и арестанты — кипятили чайники, сушили пимы [1], варили пищу.

Едва разместились, Покасанов раздал кормовые деньги до места назначения, до Тобольска, за четыре дня вперед. Затем во двор этапа были пущены крестьянки с творогом, молоком, яйцами, пшеничным хлебом. Пришел на этап и Чернецкий. Он принес заготовленный им для партии целый пуд мяса.

Покасанов встретил его, как своего, так как виделся с ним при каждом движении этапов через Кутарбитку, и приказал часовому пропустить Чернецкого на свиданье к Гудзию, а сам пошел в село, где были знакомые.

Когда Чернецкий вошел, то староста уголовных каторжан, по прозвищу Савка, с асимметричным лицом и серыми острыми глазами, осужденный за то, что вырезал при грабеже целую семью с женщинами и детьми, собирал со всех на общую выпивку. И все вынуждены были отдавать из кормовых денег почти все, что получили, под страхом жестоких побоев. Избавлены были от этого только четверо политиков, с которыми Савка не рисковал связываться. Затем Савка послал в монопольную лавку бывшего на этапе на побегушках сына этапщика Степу и приказал купить три четверти водки. Степа притащил в мешке на спине три четвертных бутылки с казенными ярлыками. Савка овладел ими и оделил всех водкой. Для своих каторжан он отделил особую порцию, и они распили ее своим кружком, усевшись на нарах вместе с солдатами. Потом, когда все три четверти опустели, начали гонять Степу за водкой в розницу — за бутылками и полубутылками. Одни пили с жадностью, иные прямо с исступлением. Степа получал медяки, гривенники, двугривенные и опять, что было духу, несся в валенках и ситцевой рубашке и приносил новые бутылки, полубутылки и сотки с водкой.

Перед вечером, часа в четыре, зашел на этап старшой Покасанов, тоже выпивший на селе, справился, все ли благопо-

---

[1] Пимы — валенки.

лучно, и смутился, когда увидел повальное пьянство уголовных арестантов. Когда один совершенно пьяный солдат протянул ему налитый водкой стакан, Покасанов ударил наотмашь кулаком по стакану, заругался и раскричался на пьяного, сорвал с него георгиевский крест, вытолкнул солдата на двор и там забросил крест через пали [1]. Солдат порывался драться, но Чернецкий и Гудзий их развели.

Среди уголовных в течение вечера тоже не раз возникали ссоры, брань, драки. Возня же, гам, крики и тюремные песни не прекращались до ночи. Когда стемнело, Покасанов пришел еще раз и приказал настрого пятерым еще державшимся на ногах солдатам оставаться в этапе, а сам ушел ночевать на село. Остальные конвоиры все разбрелись по Кутарбитке и гуляли там или спали у знакомых крестьян. После ухода Покасанова Савка отправил через Степу старухе-корчемнице два казенных арестантских халата и взамен получил еще четверть водки.

V

К ночи ветер упал. Сильно подморозило. Землю и крыши запорошило снегом. Темное небо над этапным зданием вызвездило и ушло глубоко ввысь. В этапе же, после страшного шума в течение всего дня, часам к девяти тоже все успокоилось и стихло.

В духоте, в полумраке керосиновых ламп, на нарах и на полу, в раскрытых камерах и в коридоре — всюду, почти на всем пространстве пола лежали спящие арестанты. В камере, служившей помещением для конвоя, где стояли в козлах ружья и висели зарядные сумки и одежда, спали у стены на нарах лишь двое солдат. Посредине, на полу, вокруг тусклой жестяной лампы, пятеро уголовных каторжан и двое конвойных, босые, в ситцевых рубахах, играли в карты, в польский банчок. Выигрывали и проигрывали все, что имели,— деньги и вещи. Игроки напряженно следили за картами, за деньгами на кону, за руками сдатчиков.

Игра шла азартная, страстная. Однако, часов до одиннадцати ночи все шло благополучно, слышались только храп, сонные вздохи, шлепанье карт и сдержанные возгласы брани среди картежников. Один из игравших солдат, худой блондин, нелепо делал ставки то в пятачок, то в полтинник и, желая отыграться, проигрывал казенные вещи. Савка обыгрывал его и ругался.

---

[1] Пали — ограда из бревен с заостренными концами.

Вдруг не хватило полтинника, поставленного на кон. Тогда Савка придвинулся к солдату и изо всех сил ткнул его кулаком под нос. Солдат брякнулся на пол, поднялась драка с неистовой бранью, с криками. Часовой, спавший сидя с ружьем в коридоре, спросонья в испуге дал выстрел. Потом еще и еще. От выстрелов погасли лампы, и поднялась в темноте паника и свалка, в которой все били и все отбивались от соседей, хватали ружья, лезли к дверям, чтобы вырваться из этого ада.

Когда вывалились на двор и очнулись от исступленного страха, то вдруг услышали из открытой настежь двери отчаянные вопли. Кричал и выл конвоир Тарасенко, тот самый, что спал на часах в коридоре и начал стрельбу. Он оказался раненным штыком в живот, с разрывом печени и желудка.

Трое остальных солдат, бывших в этапе, захватив свои ружья, побежали в деревню, бросив среди арестантов раненого Тарасенко и пьяного товарища, спавшего на дровах в кухне. За воротами этапа они тотчас дали десятка три выстрелов, чтобы поднять тревогу. Среди арестантов, вернувшихся в коридор, паника возобновилась, поднялся плач, брань, крики.

Назарьянц, непрестанно мечтавший о бегстве, схватил в козлах солдатскую винтовку и, как спал, в одних штанах и черной рубашке, выскочил за ворота и, что было силы, молнией понесся к лесу, черневшему в версте от этапа. Не чувствуя под босыми ногами мерзлой, кочковатой земли, летел он прыжками, обжигаемый морозным воздухом и упиваясь внезапным счастьем свободы.

Стась забился в угол нар, упал на колени, с лиловой книжкой в руках, и... молился.

Савка с отвратительной бранью дико злобствовал, что убит «дух» (т.-е. конвойный солдат), и готовился с товарищами к побегу. Они разувались, снимали кандалы, переодевались в вольную одежду, сорванную с оторопелых пересыльных арестантов, имевших свое платье, дрались, грозили убить при всяком намеке на сопротивление.

— Передушат вас всех! Туда вам, сволочи, и дорога,— свирепо орал Савка.

— Шпана! Законные вши! — хрипел басом другой уголовный каторжанин, алкоголик Коврыга, всегда злобный, без водки, а теперь совсем озверевший от выпивки.

Гудзий и Тиняков оделись в солдатское платье и взяли ружья, надели пояса с подсумками и убеждали всех итти в деревню — требовать мировой от Покасанова и конвойных, а если те будут нападать, драться с ними до последней крайности.

Но их никто не слушал. Потерявшись до невозможности что-либо понимать, одни метались по этапу в ужасе, кричали, чтобы их спасли, другие падали ничком на нары и рыдали.

Все восемь уполовных каторжан по-одному, по-двое, по-трое выскакивали на двор, затем в калитку на улицу и, оглядевшись, быстро убегали, огибая здание этапа. Более осторожные перелезали через высокие пали прямо в поле и бежали в лес, через который утром партия проходила по дороге в Кутарбитку. После их побега шум в этапе ослабел, слышались только неистовые стоны раненого Тарасенко. Он лежал в кухне навзничь на полу у стены, рядом с пьяным, не шевелившимся товарищем. и выл от боли, ворочая затылком по полу.

Один из пересыльных крестьян, пожилой сибиряк в синей рубахе, в пимах, по фамилии Седых, мыкался из камеры в камеру и плачущим голосом умолял всех послушать его, итти сообща искать старшего Покасанова, арестоваться и обещать ему, что они все будут стоять заодно с солдатами против каторжан, будут свидетелями и оправдают их своими показаниями.

VI

От выстрелов быстро проснулась вся деревня. Крестьяне — мужики, бабы, девки, подростки — все поднялись на ноги. Все узнали о несчастье на этапе, но редко кто решался выйти на улицу, чтобы не вмешиваться в чужое, страшное дело. Во всех домах засветились окна, но никто не шел к этапу. Только бабы и девки из неудержимого, но жуткого любопытства перебегали в тени заборов из дома в дом и передавали, что случилось.

От первых же выстрелов Чернецкий проснулся и вскочил с постели. Весь дрожа от сознания страшной беды на этапе, он наскоро оделся и вышел на улицу. Все было тихо, но чуялось в тиши звездной ночи страшное и злое. Вдруг вдоль по улице пробежали к этапу солдаты, и опять раздались выстрелы. Чернецкий, ни минуты не думая, что он делает и зачем, быстро, крадучись, побежал в тени домов и заборов, перебегая от дома к дому, и легко, бесшумно пробрался к этапу.

Обогнул с угла пали этапного двора и, забежав с поля, прильнул грудью к обиндевевшим бревнам этапа. Через них он услышал приглушенные стенами стоны, плач, причитания Чей-то голос протяжно выл. В тот же миг на дворе этапа затрещали выстрелы, послышался голос Покасанова:

— Держи двери! Никого не пускай! Молчи, убью!

Открылась дверь. На секунду Чернецкому врезался в уши

чей-то визгливый плач. Вошли. Двери снова закрылись. Раздались глухие выстрелы внутри. Послышалась возня... удары... неистовые крики... стоны... всхлипывающий плач... Затем все стихло. Зажгли свет. Снова раздались выстрелы внутри. Опять погас свет. Опять зажгли... Задвигали чем-то. Снова выстрелы... Затем все стихло.

Солдаты вышли во двор...

Свершилось страшное дело.

VII

Старшой Покасанов спал у знакомой вдовы.

Услышав выстрелы, перепуганная женщина разбудила его. Покасанов сразу догадался, в чем дело. Он не успел еще обуться, как прибежали трое солдат с этапа. В приступе бешеной злобы он бросился на солдат с бранью и стал бить их кулаком. Они закрывали локтями лица, но, подавленные, не сопротивлялись.

Покасанов несколько пришел в себя, когда прибежали еще четверо конвойных, спавших в деревне. Он им пригрозил побоями и каторгой. Вдруг прибежал еще один солдат, бойкий татарин, крича, что надо бежать к старосте, звать мужиков, ловить бежавших. Покасанов цинично обругался, схватил его и швырнул в угол.

— Без твоей косоглазой морды не знаю, что делать? Ах ты...— и опять цинично обругался.

Резко бросая бранные слова, Покасанов осмотрел ружья и сумки с патронами.

— Все за мной!— строго скомандовал он. И все с ружьями наперевес побежали к этапу.

В этапном здании Покасанов и его товарищи перестреляли, перебили прикладами, перекололи штыками 22 человека. Стреляли, били, кололи как попало и возились в кровавой груде мертвых и живых тел очень долго, пока все не было кончено, пока не смолкли все голоса жизни. Затем Покасанов в изнеможении остановил солдат, продолжавших бессознательно неистовую возню расправы с холодевшими уже трупами.

На дворе, когда солдаты немного отдышались и успели понять, как они теперь все тесно спаяны совершенными ими преступлениями, Покасанов быстро сговорился с ними насчет показаний.

Прежде всего они все должны были стоять на том, что все

конвойные ночевали на этапе. Затем — что арестанты провели их образцовым поведением партии. Все спали ночью, кроме часового, когда арестанты внезапно напали на них, приготовившись общими силами к побегу.

Затем Покасанов повел солдат к сельскому старосте Клименту Ивановичу писать протокол. Там они застали уже целую толпу баб, девок и подростков, которые наперебой рассказывали подробно всю историю на этапе со слов Степы, сына этапщика. Здесь уже было известно, что Покасанов перебил насмерть всех, кто остался.

При входе солдат все остолбенели, и женщины внезапно замолчали.

— Сволочи... хотели бежать... мы им показали... Так на месте и пришпилили,— входя, заговорил Покасанов развязным, неестественным голосом, отвечая на испуганные взгляды женщин и подростков.

Он пролез за стол, уселся рядом со старостой и, рассказывая, начал создавать впервые ту историю мнимого нападения арестантов на конвой и боя солдат с ним, что попала потом в донесение начальника Тобольского губернского жандармского управления, в доклад Николаю II и в обвинительный акт. Покасанов был уже совсем спокоен и уверен в себе и даже рисовался перед собравшейся толпой своим холодным, беспощадным зверством по отношению к арестантам. Остальные конвоиры сначала молчали, подавленные происшедшим. Потом и их захватила спасающая их ложь Покасанова, и они стали вставлять в нее свои подробности.

Из шестнадцати человек конвойных, собравшихся вместе с Покасановым у старосты, только семеро на самом деле участвовали в избиении на этапе безоружных людей. Остальные не имели на своих руках и на своей совести ничьей крови, ничьей жизни. Но и эти возводили на себя кровавую хулу, каждый приписывая себе убийство одного, двух, трех или даже четырех человек. Пожилой и умный староста, несмотря на все свое сочувствие к солдатам и презрительное отношение к арестантам, не выдержал и при Чернецком и при толпе баб и девок остановил их и властно сказал:

— Ну, будет брехать! А вы все цыц — по домам!

И разогнав слушателей, староста оставил солдат у себя — писать донесение о случившемся в волость и становому. И тут впервые попала на бумагу казенная версия драмы на Кутарбитском этапе.

VIII

Кончив рапорт, Покасанов взял солдата-татарина и пошел с нам осматривать этап. Там было темно и страшно. Крадучись, они вошли в коридор, затворили и заперли изнутри двери. Прислушались. Было тихо, только в кухне слабо стонал Тарасенко. Они принесли ему горсть снега, и он с жадностью съел его. Затем занялись пьяным, бесчувственным товарищем. Они кормили и его снегом, расталкивали и, наконец, подняли на ноги. Уложив Тарасенко на солдатскую шинель и подталкивая шедшего впереди пьяного, снесли раненого в дом старосты. Затем вернулись обратно на этап, захватив с собой лампу.

Поднявв свет над головой, Покасанов заглянул в камеру, где сбились в кучу арестанты и где теперь валялись в крови их остывшие тела.

— В ружье!— еле дыша, скомандовал Покасанов, затрепетав перед грудой мертвецов.

Он и татарин прислушались. Никакого шелеста жизни, только шумно колотились их собственные сердца. Вдруг в груде трупов как будто послышался шопот. Содрогаясь, оба вылетели в коридор и захлопнули дверь. Вышли на воздух, ободрились. Возвратились обратно.

— Бери смело, тащи на двор!— скомандовал Покасанов, подбадривая криком и себя, и дрожащего татарина. Они торопливо хватали вымазанными кровью руками холодные руки мертвецов, растаскивали их и распределяли группами.

Сначала подняли мертвого Седых в синей рубашке, с разбитой головой, и выволокли на двор, обнесли кругом палей и положили в поле за этапом ничком, лицом к земле, прикрыв его разбитую голову солдатской фуражкой, снятой с татарина. Возвратившись, взяли другой труп и положили недалеко от калитки Потеряв силы, Покасанов приказал товарищу стащить на улицу еще одного убитого. Татарин, схватив труп за ноги, понес его на спине, а руки мертвеца повисли и поволоклись по полу. На крыльце, сходя со ступенек, солдат упал на Покасанова вместе с трупом. И Покасанов едва не лишился сознания.

Превозмогши кое-как страх, они распределили остальные трупы группами, частью в здании, частью во дворе этапа.

Кончив эту инсценировку мертвецов к следствию, они сбили прикладами запоры со всех дверей. Работая над пробоями, они то и дело выбегали на улицу убедиться, что за ними никто не следит. В объятиях этого страха и перед мертвыми, и перед живыми, они едва справились с запорами.

Когда все кончили и должны были уходить, Покасанову опять почудилось, что на этапе есть кто-то живой, помимо них. С коптящей лампой в руке он стал осматривать мертвецов, пробовал рукой, засматривал в лица. С них глядели на него остановившиеся глаза, перекошенные рты — и только. Живых не было. Наконец, и это трусливое и скверное заметание следов, казалось, было закончено, и Покасанов, овладев собой, занялся точным подсчетом числа убитых и бежавших для протокола и для рапорта по начальству.

И опять ему послышался какой-то скрытый шорох. Он поставил лампу-коптилку на пол и на коленях, на четвереньках стал ползать по лужам крови и осматривать пространство под нарами. Там в углу, у стены, лицом к нему лежал живой Стась. Его глаза горели, смотря в упор на Покасанова.

— Вылезай, скорее вылезай! Не трону, — прошептал ему Покасанов.

Но Стась не двигался. Только закрыл лицо своей книжкой с крестом на крышке.

— Вылезай! — заорал на него Покасанов диким голосом. — Вылезай! Вылезай сейчас! — грозно кричал, что было мочи, Покасанов.

Стась все-таки не двигался, только скорчился и ляскал зубами.

Покасанов схватил ружье, изогнулся, изловчился, прицелился, выстрелил. Когда дым рассеялся, он выстрелил еще. Бросился в кухню и повалился ничком на пол. Татарин попытался поднять его, но ничего не вышло, — бросил и ушел в дом старосты.

IX

Когда Покасанов очнулся, он вспомнил Стася, завыл, ринулся вон из этапа и стремглав, точно за ним кто гнался, прибежал к Чернецкому. Дома у последнего оказались только дети — семилетняя девочка, очень бойкая, всегда прежде ласкавшаяся к Покасанову, и мальчик лет трех, не отстававший от сестры. Растерявшись перед детьми, Покасанов остановился на пороге. Дети в ужасе юркнули под кровать.

Покасанов захохотал и свалился на ту самую большую кровать, стоявшую в углу, под которой спрятались дети. Они, как мыши, перебежали комнату и забились в угол, за большой сундук. Покасанов замолк. Девочка схватила на руки брата и убежала с ним к соседям.

Застав на своей кровати Покасанова, у которого на руках, на лице, на одежде была липкая кровь, пропитанного ее запахом, смешанным с пороховой гарью, Чернецкий отнесся к нему, как к самому несчастному из несчастных. Обмыл его и привел в порядок и долго потом сидел с ним с глазу на глаз. А Покасанов, сгорбившись в дугу, опустив глаза в грязный пол, тихо плакал и уныло рассказывал, что произошло на этапе. И замечательно, что в то время, как в избе у старосты, рассказывая и составляя протокол, он мог только лгать, здесь он говорил правду и передавал ее с совершенной полнотой, простотой и ясностью.

Дойдя до убийства Стася, Покасанов зарыдал и дико захохотал. Чернецкий долго успокаивал его, поливал голову водой, утешал.

— Понимаешь, он у меня в глазах стоит, — шептал, плача, Покасанов. — Я не хотел убивать, не хотел! — кричал он с мокрым от слез лицом и то куда-то рвался из рук Чернецкого, то падал к нему на плечо и мочил его бородатое лицо слезами.

X

Уже под вечер следующего дня за Покасановым прибежал оторопевший солдат — сказать, что приехал из города жандармский ротмистр расследовать дело.

— Не бойся, все будет по-нашему, — успокоил товарища Покасанов.

Он, не торопясь, умылся, тщательно прибрался и только тогда пошел на допрос. К его приходу молодой, изящный ротмистр, гремевший шпорами, знал уже все, что рассказывали о деле конвойные солдаты при составлении протокола у старосты. Ротмистр встретил его словами:

— Молодец Покасанов! Ты, как видно, не потерялся.

— Рад стараться, — сдержанно ответил ему Покасанов.

На дознании ротмистра, при осмотре этапа и при допросе, в то время, как солдаты подобострастно и робко суетились, Покасанов вел себя так спокойно и сдержанно, как будто нельзя было сомневаться в его правоте и доказанной на деле храбрости. Давая показания, он многое добавил к тому, что было в его донесении и что он рассказывал накануне у старосты.

Отвечая на наводящие вопросы ротмистра, он рассказал, что будто в партии очень подозрительно вели себя четверо политических арестантов, Гудзий, Тиняков, Назарьянц и Стась, из которых трое первых скрылись, а четвертый

убит; добавил, что ночью, перед побегом, арестанты переговаривались через глазки дверей запертых камер на каком-то непонятном часовому языке, вероятно еврейском, которого русский часовой не мог понять. Словом, вместе с ротмистром здесь были разработаны все подробности, приведенные в докладе на высочайшее имя, включая и снятого штыком с забора арестанта, которого будто бы перехитрил рядовой Котухов, и кочергу, действуя которой вместо ружья, один из конвойных отсек кому-то из арестантов руку, так что на трупе торчала только раздробленная кость, а кисть с растопыренными пальцами валялась отдельно.

Вообще здесь впервые была создана во всех подробностях и разрисована картина, названная в донесении «редко-тяжелым двухчасовым рукопашным боем», в котором солдаты одержали верх, уложив мертвыми 22 арестанта только благодаря выдержке и храбрости Покасанова.

Когда ротмистр с крестьянами-понятыми, среди которых был и Чернецкий, и с конвойными подошли к этапу для составления протокола осмотра, то их глазам представилась следующая картина.

На деревянной крыше, на этапных палях, на замерзших трупах арестантов сверкал на солнце обильный иней. На улице против ворот лежал арестант с разбитой головой, босой, в нижних штанах и рубашке. Во дворе между воротами и крыльцом лежала груда из четырех мертвых тел. С противоположной стороны, между зданием и забором, лежали в куче еще четыре трупа, скорченные, с множеством штыковых ран. В поле за этапом валялся труп пересыльного арестанта Седых в солдатской фуражке на разбитой голове.

Один труп лежал на заднем крыльце этапа. Два лежали на полу в коридоре, прямо против входной двери, так что через них надо было перешагнуть, чтобы войти в этап. Еще два были в противоположном конце коридора. В правой арестантской камере было три трупа, сильно изуродованные, с огнестрельными и колотыми ранами, и оторванная рука. Остальные остались в левой задней камере. Их было четверо, и среди них был мертвый Стась, окоченевший под нарами, с книжкой евангелия в руке.

Потрогав трупы, сосчитав их, отметив, где сколько лежало, ротмистр с Покасановым и с понятыми ушли к старосте писать протокол осмотра, оставив у ворот этапа караульного крестьянина, который должен был по наряду оберегать целость трупов.

Вслед за ротмистром спешно приехал в Кутарбитку следо-

ватель. Он тоже составил подробный протокол осмотра этапа и трупов, добавил в нем сбитые с дверей пробои и запоры, опечатал их и взял с собой и так же спешно, как и ротмистр, уехал обратно.

Следователь разрешил зарыть трупы. Затем по наряду от деревни пришли три женщины, вымыли пол и нары в этапном здании, а через два дня оно уже вновь приняло в свои стены партию живых арестантов, которых вели в обратном направлении, из Тобольска в Тюмень. С приходом живой партии шум, лязг кандалов и суматоха арестантской жизни снова наполнили его и как будто прогнали страшные, витавшие еще, казалось, в нем тени убитых мучеников.

Но кровь ушедших, прилипшая мутными пятнами к стенам, к полу, к нарам, мучила живых, и страшно было ночевать в этом здании, точно в чужом гробу.

XI

Записав всю эту ужасную историю по рассказам Чернецкого, я вместе с ним решил пригласить старосту Климента Ивановича, этапщика, его сына Степу, сиделицу винной лавки и кое-кого из кутарбитских крестьян, чтобы просить их быть свидетелями и рассказать на суде то, что они знают о деле. Замечательно, что никого из них ни жандармский ротмистр, ни следователь, производивший потом следствие, не допрашивали.

Сиделица винной лавки решительно отказалась притти.

— Не лезьте, пожалуйста, ко мне с вашими политическими, — резко оборвала она Чернецкого, когда тот пришел позвать ее. — Хотите, чтобы и меня засадили и прогнали со службы?

Остальные намеченные свидетели охотно явились на мой зов.

Когда староста Климент Иванович, блестя белыми зубами и русой кудрявой бородой, уселся прочно за стол с самоваром, я сообщил ему и всем собравшимся, что если на суде не будет раскрыта правда этого страшного дела, то всех бежавших с этапа, пойманных и преданных суду, ожидает смертная казнь.

— Что мы знаем, то мы вам и расскажем, — ответил староста, окинув меня быстрым взглядом синих глаз. Убедившись, что я не чиновник и что для него нет никакого риска, он сообщил мне все подробности поведения солдат и рассказал между прочим, что пьяный до бесчувствия конвоир Котухов только

на другой день пришел в сознание, и когда узнал о случившемся на этапе, то сразу отрезвел и плакал в доме старосты. А потом, когда приехал ротмистр, то Котухов, как и все другие конвоиры, рассказывал о бое с арестантами и добавил, что он сосновым поленом разбил головы двух заключенных. Старуха Сафрониха, корчемница, сожгла два казенных халата, полученных от арестантов за водку, испугалась, как бы не обыскал ее следователь, а теперь жалеет.

— Вы бы и ее позвали, — предложил староста.

Зараженные примером старосты, Степа и все остальные рассказали все, что знали, и все предлагали позвать еще свидетелей, знавших от солдат подробности кровавой истории на этапе.

Я долго и подробно всех расспрашивал и все эти рассказы записывал. Наконец, когда материал был исчерпан, я попросил Климента Ивановича быть свидетелем на суде. В ответ на это староста откровенно пожал плечами, показал мне всем своим видом, что нельзя вмешивать человека зря в чужое, да еще такое неприятное дело, и что он не такой чудак, чтобы в него путаться.

— Это дело не наше, — коротко заявил он и, придавив стол ладонью так, что он хрустнул, встал, чтобы уходить.

За старостой ушли и все остальные свидетели. Мы с Чернецким остались вдвоем и должны были в защите рассчитывать только на свои силы.

XII

В то время, когда внезапная насильственная смерть оборвала страдания оставшихся в этапе, для тех, что спасли свою жизнь бегством из него, страдания только начинались. Сначала, когда поддерживалась острая надежда уйти, вырваться на волю, они шли, несмотря на онемевшие от боли ноги, страдая от холода во всех костях, в голове, в зубах. Но когда пришлось голодать и не хватало уже ни сил, ни надежды и стал одолевать страх погибнуть, замерзнуть, то наступила такая усталость, что ничего не оставалось, кроме как итти в деревню за хлебом и приютом или же прямо к властям.

При арестах, одних связывали и били, другие, более счастливые, избегали побоев. Сельские власти из опасения, что они убегут из сборных изб и что придется отвечать за это, немедля после ареста отправляли их, крепко связанных веревками. с десятскими в город.

В губернской тюрьме, куда я пришел к своим подзащитным на свидание, они провели до суда уже больше месяца. За этот срок к ним заходили только следователь и прокурор, и однажды посетил их губернатор. По отношению к ним начальствующих лиц, по разговорам карауляющих их солдат, по строгостям режима, по постоянному опасению за их побег начальника тюрьмы и надзирателей, а главное потому, что дело было передано в военный суд, где они должны были судиться, как говорили все власти, «за зверское, неслыханное по своей дерзости нападение на военный конвой с целью побега», — они знали, что все их считают обреченными на казнь.

Все девять содержались вместе, в одной камере, такой тесной, что они едва размещались на ее полу. Ни стола, ни нар в камере не было. Окно с решеткой было так высоко и так мало, что они не видели ни клочка неба. Для всех отправлений днем и ночью стояла параша. В глазок двери они постоянно видели следившие за ними глаза часового-солдата, так как они содержались под особым военным караулом.

Они были закованы по рукам и ногам, при чем наручники были соединены такой короткой цепью (всего в шесть вершков), что ни лежа, ни сидя, ни стоя никак нельзя было найти для рук такого положения, чтобы они не отекали и не ныли. И дни и ночи они проводили большей частью лежа на полу, точно живые трупы, в общей, так сказать, предварительной могиле. Временами они отчаянно шумели, спорили или ругались в несколько голосов, под лязг кандалов.

Когда старший помощник, получив мой пропуск, подписанный председателем военного суда генералом Кригером, ввел меня в пропитанный густой тюремной вонью коридор, и надзиратель, гремя железными запорами, отпер и распахнул дверь их камеры, заключенные вскочили с пола, и раздался такой резкий лязг сразу восемнадцати пар кандалов, что в первую минуту я растерялся. Заключенные сгрудились в кучу и все придвинулись ко мне, ища взглядом моих глаз.

Осмотревшись в полутьме, я увидел их глаза, смотревшие с бледных отечных тюремных лиц, сверкавшие, как темная вода прорубей на реке зимою. Их страшные в своей неподвижности лица и дико застывшие глаза уперлись в меня, стараясь уловить, есть ли какая-нибудь надежда. Сделав над собой усилие, я улыбнулся и стал дружески здороваться.

Они все сразу, перебивая друг друга, забросали меня вопросами, заговорили, лязгая цепями, не слушая ни меня, ни друг друга, быстро переглядывались между собой и со мною

радостными взглядами. В моих глазах и, должно быть, в голосе и жестах они вдруг увидели надежду на жизнь, и я видел, как мгновенно сползала с их лица какая-то особая покрывавшая их тень. Среди настроения смерти как бы пронеслось дуновение живой жизни, и вместе с ним началась напряженная борьба с военным судом.

XIII

Материал письменного производства по делу был чрезвычайно скуден, сух, элементарно прост и в то же время необычайно лжив.

Он начинался с донесения, составленного в Кутарбитке старостой Климентом Ивановичем, совокупно с Покасановым. Затем шло дознание жандармского ротмистра, в котором та же версия трагических происшествий на Кутарбитском этапе была разукрашена еще разными подробностями никогда не происходившего в действительности рукопашного боя заключенных с конвойными солдатами. Дальше шел очень длинный и очень подробный протокол осмотра этапного здания и трупов.

В материале, добытом судебным следователем, которому дело было передано уже после составления доклада о нем на высочайшее имя, не было ничего, кроме протоколов допроса всех конвойных солдат по очереди, начиная с Покасанова. Все они почти как граммофонные пластинки повторяли, лишь слегка меняя выражения, показания Покасанова, а в конце было добавлено, что делал каждый данный свидетель, конвойный солдат, во время мнимого, выдуманного боя с арестантами, какие он получил царапины и т. д., и т. д.

В защиту подсудимых этот материал ничего не давал. Его можно было только критиковать, опираясь на его внутреннюю неправдоподобность. Никаких фактических показаний в защиту подсудимых во всем предварительном следствии совсем не было, и я мог опираться только на свое следствие, произведенное в Кутарбитке мною самим, и только на показания одного свидетеля, Чернецкого, которые в глазах суда могли казаться зараннее опороченными, так как Чернецкий был политическим ссыльно-поселенцем, бывшим солдатом, осужденным за революционную пропаганду в войсках.

Когда Чернецкий явился ко мне в Тобольск в номер гостиницы, то после долгих и тягостных свиданий с подсудимыми, после безнадежных впечатлений от материала предварительного следствия, от разговоров с секретарем суда, от городских толков, что все равно всех девятерых повесят,— он подейство-

вал на меня, как струя морозного воздуха после душной комнаты. Мои надежды заражали Чернецкого, а его настроение поднимало меня; мы с ним верили и надеялись вместе, и от этого наши надежды не удвоились, а удесятерились.

Судя по себе, мы решили, что теперь можно убедить и Покасанова показывать на суде истину. И Чернецкий отправился в казармы. Но когда Покасанов вдруг увидел перед собой Чернецкого, перед которым он когда-то каялся и изливал свои муки, он был так поражен, точно перед ним появился один из убитых на этапе. Покасанов едва удержался, чтобы не закричать и не прогнать его прочь с тем ужасом, с каким гонят призрак.

— Зачем пришел?—дико метнув глазами, сказал Покасанов, порываясь бежать от него.

Но Чернецкий спокойно взял его за руку.

— Я пришел спросить, что ты думаешь показывать на суде,— ответил Чернецкий успокоительно и мягко.

Тогда, сообразив, что Чернецкий явился на суд в качестве свидетеля и будет там рассказывать всю правду о том, что было на этапе, Покасанов весь съежился.

— Кому и зачем на суде нужна правда?—ответил он сухо, сдерживая раздражение.

— Нужна тем, которые бежали, кого теперь судят и хотят повесить. И тебе не миновать говорить правду,— добавил Чернецкий и стал упорно твердить эту мысль, точно молотком заколачивая ее в голову Покасанова.

— Я тебя не звал, и ты меня не учи. На суде услышишь,— грубо ответил Покасанов.— Уходи от меня!

Но Чернецкий не уходил. Выждав минутку, он взял Покасанова снова за руку и сказал ласково:

— Голубчик, говори правду, и тебе легче будет.

Но тот вырвал руку, повернулся спиной и быстро ушел внутрь казармы...

XIV

Для заседания временного военного суда был предоставлен тот самый зал офицерского собрания, где был бал в ознаменование полученной полком высочайшей благодарности. За большими окнами зеленели пихты и сосны, осыпанные снегом. Стены зала оставались еще убранными после бала трехцветными флагами и темнозелеными гирляндами можжевельника. В глубине была сцена с яркой расписной занавесью. Перед ней стоял стол с красным сукном для судей, а по бокам — зеленые

карточные столы для прокурора и защитника. В этом убранстве большой светлый зал имел радостный вид, и можно было подумать, что здесь готовится не военный суд, а какой-нибудь праздник...

Я явился в суд рано, когда зал был еще совершенно пуст, прошел к секретарю, и тот провел меня к подсудимым. В небольшой угловой комнате они сидели тесно в ряд, вплотную друг к другу,— все девять в ручных и ножных кандалах. Шесть конвойных полукругом стояли перед ними, с ружьями в руках. Еще два солдата сидели поодаль на подоконнике.

Когда мы вошли, все подсудимые порывисто вскочили с резким лязгом кандалов, но солдаты испуганно закричали на них и усадили на места. При ярком свете дня их лица резко выделялись своей тюремной желтизной и зеленоватой бледностью, а их глаза опять мгновенно впились в меня своими расширенными зрачками. Как я ни привык при ежедневных свиданиях с ними к этому их взгляду, но я весь внутренно вздрогнул от него. Здороваясь, они по очереди протягивали мне свои отекшие сине-красные руки в железных наручниках, поддерживая правую руку у кисти левой рукой, чтобы не мешала движениям короткая шестивершковая толстая цепь.

Мы покурили, и я еще раз посоветовал своим подзащитным:

— Боритесь до последней крайности. Рассказывайте все начистоту, по правде, даже в мелочах. Только не ругайте солдат. Не подыскивайте слов, говорите просто, что было, что знаете.

Затем мы решили, что Гудзий в начале суда расскажет все, как было, а остальные дополнят подробности своего побега.

Когда я вернулся, зал был уже наполнен людьми. В углу у входа тесной группой стояли конвойные солдаты—свидетели— во главе с Покасановым. Он был бледен, но по уверенной позе казалось,— вполне спокоен.

В рядах стульев для зрителей я увидел много политических ссыльных, которых я с разрешения председателя записал для пропуска в суд, как родственников и знакомых подсудимых, хотя у них в действительности в Тобольске не было никого близкого. Передние ряды занимали офицеры, чиновники губернского правления и судейские. Бойкий жандармский ротмистр, производивший дознание, рассказывал им дело, самоуверенно вертясь и звеня шпорами.

— В таких делах суд сводится к простой формальности,— говорил он.— Здесь остается только применить наказание. Кроме смертной казни, военный суд не может вынести по этому делу другого приговора. Это у нас нежничают с убийцами, смуща-

ются, жалеют, просят помилования всяких негодяев. В Европе это делается очень просто и никого не смущает.

На хорах, где во время балов размещался оркестр, виднелись дамские платья и меховые шляпы. Там набралась публика, пропущенная через квартиру капитана, заведывавшего домом военного собрания, с разрешения председателя суда. И оттуда неслся в зал сдержанный гул голосов.

Свет солнца, бивший в большие окна, и шум толпы — все это бодрило, говорило о жизни, а не о смерти, снимало гнет угрозы казнью, висевшей над головами подсудимых.

Бросив портфель на свой стол, я прошел за занавес к секретарю. Здесь же за занавесом помещались и все четверо строевых полковников, временные члены суда, и пятый — запасный. Здесь для них стояли кровати, и тут же помещался и помощник военного прокурора, полнеющий немец-блондин лет тридцати пяти, с сухим лицом и выдержанно-вежливыми манерами.

Весь день накануне суда и большую часть ночи судьи провели с прокурором за игрой в карты, в преферанс.

Когда я вошел, судьи-полковники окружили стол секретаря и получали у него прогонные и суточные деньги. За исключением одного судьи, командированного из Тобольского полка, остальные четверо приехали издалека и поэтому получили по двести и больше рублей прогонных.

Все они знали о деле со слов прокурора и ротмистра, и оно казалось им простым и возмутительным. Только генерал Кригер, председатель суда, когда они представлялись ему, посоветовал им не слушать ничьих разговоров о деле и разрешить его так, как оно представится им на самом суде.

Поздоровавшись со мной, прокурор отвел меня в сторону и сказал:

— Напрасно вы вызвали в свидетели этого Чернецкого: знаете — политик, да еще ссыльно-поселенец по суду, бывший солдат, изменивший долгу присяги. На судей он может подействовать скверно. Зачем он вам? Мы живых людей не глотаем, а полковник и так добродушно настроен. И без Чернецкого вы можете вызвать в них сострадание к подсудимым. Как хотите. но мне казалось необходимым предупредить вас.

Я поблагодарил и поспешил обратно в зал, за свой стол.

Дежурный офицер суетился, ожидая прихода генерала. В передней уже больше часа дежурил взвод солдат, выстроенный в две шеренги, командированный для почетного караула.

Но вот все насторожились. Через зал пролетел дежурный офицер. В передней раздалась команда: «На караул!»—и вслед за ней громкий, обрывистый крик солдат:

— Здр...жла...ем, ваш...пре...сход...ство.

Через зал быстро прошел, не глядя ни на кого, генерал в пальто. Это был невысокий, полный, нестарый человек, лет сорока восьми, лысый, с несколько удивленным выражением близоруких глаз в очках с толстыми стеклами. Это был военный судья Омского военно-окружного суда, генерал-майор Мориц Федорович Кригер [1].

Минут через десять безусый дежурный офицер неестественно прокричал:

— Суд идет! Прошу встать!

Все стихли. Генерал приказал ввести подсудимых. И тотчас в чуткую тишину зала донесся бьющий по нервам звон кандалов, и, окруженные солдатами, нестройной толпой вошли подсудимые. Их расставили сзади меня, окружив тесным кольцом конвоя. Осунувшиеся, желтовато-зеленые лица в серых нелепых халатах, тяжелые цепи на ногах и на опухших дрожащих руках — в большом светлом зале, весело убранном флагами и зелеными гирляндами, перед нарядной офицерской и чиновной публикой — казались совсем странными. А мелкий перезвон кандалов в тишине этого зала особенно подчеркивал всю дикость начинавшейся судебной процедуры.

После обычного опроса об именах и фамилиях, о судимости и занятиях секретарь бойко, громко и отчетливо стал читать обвинительный акт, резко выговаривая одно за другим слова и фразы этой длинной бумати, грозившей смертной казнью всем девятерым подсудимым. Секретарь читал этот обвинительный акт, как будто это был какой-нибудь доклад или проект постройки. В моих ушах раздавался его трескучий голос, слышались звуки слов, не доходя до сознания, а сзади себя я слышал тихий перезвон цепей от дрожи в руках моих подзащитных.

Мысли разбегались и терялись, и меня самого стала прохватывать такая дрожь, точно я сильно озяб, так что, стискивая

---

[1] Генерал Кригер был одним из немногих военных судей в описываемые годы, старавшихся руководствоваться в своих приговорах справедливостью, в пределах старого закона. Совсем иначе держало себя на суде огромное большинство военных судей того времени, слепо выполнявших волю царского правительства по беспощадному разгрому революции 1905 г. Это обстоятельство и следует иметь в виду при чтении настоящего очерка. Нужно добавить еще, что и самому генералу Кригеру скоро пришлось уйти в отставку. — Ред.

изо всех сил челюсти, я все же заметно стучал зубами. А деревянное, трескучее чтение продолжалось. Оно длилось целый час.

Когда секретарь кончил и вернул дело председателю, все оживилось. Наступил опрос подсудимых.

— Подсудимый Гудзий, признаете себя виновным?— спросил председатель.

— Не признаю,— тихо, как шелест, ответил Гудзий, но так ясно, что его ответ слышали все. За ним еще восемь человек повторяли те же слова:

— Нет, не признаю.

Слова, после которых как-то сразу стало легче: так уверенно и просто были они сказаны.

— Почему вы не считаете себя виновным?— спросил председатель Гудзия.

И тот первый начал рассказывать о том, что было на этапе в Кутарбитке в ночь с 22 на 23 сентября 1907 года. Гудзий не спускал своих глаз с лиц судей и рассказывал им, как шел этап. как в Кутарбитке собирались все, и арестанты, и конвойные, отдохнуть; как начали пить; как в угарном хмелю уже в течение дня несколько раз поднимались драки; как улеглись затем спать, а большая часть конвойных солдат разбрелась по знакомым домам в деревне; как уголовные каторжане с двумя солдатами играли в карты; как из-за карт разбили нос солдату, и началась затем свалка; как конвойный Тарасенко дал выстрел, и в суматохе все, испуганные, бились, отбиваясь друг от друга; как все вывалились на двор и уже оттуда услыхали стон раненого Тарасенко и в страхе не знали, что делать; и как потом они похватали ружья и беспрепятственно убежали в лес.

Гудзий рассказывал подробно и даже монотонно, но само содержание рассказа захватило судей и заставило их выслушать его терпеливо. Он все вспоминал и добавлял все новые подробности о том, что было на этапе, а я всматривался в лица судей, чтобы понять, верят ли они ему. Но ничего не мог узнать по их незнакомым лицам, по их фигурам в орденах и мундирах, за красным столом, в официальных, строгих судейских позах.

Генерал же дал возможность Гудзию сказать все, что он мог и хотел сказать.

Затем, по приказу председателя, были введены свидетели. Целой толпой они загородили судейский стол. Пока председатель поименно перекликал их и опрашивал, я отыскал глазами в толпе Чернецкого. Когда Покасанов и все другие свидетели

принимали присягу и целовали на аналое евангелие и золотой крест, Чернецкий стоял в стороне, так как прокурор отвел его от присяги, как лишенного по суду всех прав состояния.

Он стоял близко ко мне и смотрел на меня дружескими, но несколько странными, горящими глазами.

После присяги в зале был оставлен один Покасанов, и он начал свои показания. Бледный, с опущенными веками, с белыми, приглаженными набок волосами, он вытянулся перед председателем во фронт.

— Расскажи, Покасанов, что знаешь по делу,— строго сказал председатель.— Еще раз напоминаю тебе, что на суде надо говорить правду.

И вдруг Покасанов заговорил громким, тем неестественным солдатским голосом, которым подается рапорт по начальству.

— Так что десятого сентября,— начал Покасанов,— я принял за старшего партию арестантов. За шесть дней провел по расписанию этап до деревни Иевлево. Так что в Иевлеве сдал партию конвою, шедшему навстречу. От него принял партию в тридцать три человека для доставления в город Тобольск.

И Покасанов повторил наизусть, слово в слово то, что было записано в его письменных показаниях, как бы читая их по памяти. Между прочим, он сказал, что во время пути партия «вела себя в высшей степени образцово»; что, когда все стихло на ночь в Кутарбитском этапе, то слышались через коридор переговоры из камеры в камеру, «вероятно, на еврейском языке»; что когда арестанты вырвались в коридор, то все они кричали: «Бей старшого, остальные сами сдадутся».

— Остановись, Покасанов,— прервал его председатель.— Скажи, кто же бил тебя, чем и куда? В голову? В грудь?

— Так что все кричали и били, ваше превосходительство.

— Но кто же именно из них бил тебя?— настаивал председатель, указывая на подсудимых.

При этом вопросе все в зале как бы онемели на те несколько секунд, пока Покасанов перевел дух и затем отчеканил:

— Не могу знать. Так что все били, ваше превосходительство.

— Не говори: «все»,— строго заметил генерал,— а назови, кто бил.

— Не могу знать... многие мертвые.

— Ты оставь мертвых. Подумай, можешь ли ты по совести утверждать, что тебя бил из этих кто-нибудь, из подсудимых?— спросил председатель.

— Не могу знать, кто бил. Все били.

Покасанов рассказал дальше, что в свалке с него был сорван мундир, в двух местах прострелена фуражка и, в борьбе, о чью-то голову он отбил приклад винтовки.

Он рассказывал твердо и отчетливо, но чем дальше, тем больше бледнел и задыхался, а голос его был сух, скрипел и неестественно звучал в зале.

Председатель сдерживался, но было видно, что его сердил этот заученный рапорт. Чтобы добиться правды, он спросил:

— Вас конвойных было восемнадцать, а арестантов тридцать три человека?

— Точно так.

— Помолчи. Ну, вот начался бой с неравными силами. Затем вы половину перебили. Что же ты тогда сделал?

— Кричал: «Ребята, бей, чем попало, не сдавайся!»

— Что же сдаваться, когда их осталось уже меньше, чем вас?

— Я бился до последнего.

— Ну, хорошо: из оставшихся вы перебили еще половину. Без Тарасенко вас было семнадцать, а арестантов оставалось семь или восемь человек. Что же ты тогда сделал?

— Дрался прикладом. Командовал: «Бей, чем попало!»

— Ну, хорошо. Вы убили еще четверых или пятерых. Что же ты тогда сделал?

— Бил, чем попало, не сдавался.

— Ты понимаешь, что ты говоришь?— строго спрашивал председатель.— Что ты делал, когда из арестантов осгавалось в живых три или четыре человека? Ты, что же, продолжал драться?

— Так точно, продолжал драться.

Так председатель пробился с ним с полчаса, пытаясь привести к сознанию. Но Покасанов твердил, что дрался изо всех сил до последнего, и упорно повторял, что, в борьбе, о чью-то голову он отбил даже приклад своей винтовки.

Председатель сдерживался, но его голос все повышался, до высоких теноровых нот. Было очевидно, что ему уже невмоготу эта казенная ложь.

Двое судей, казачьи полковники из степных областей, сидевшие ближе к окнам зала, массивные, с красными лицами, наоборот, спокойно и довольно поглядывали на Покасанова. «Так и надо»,— говорили их лица. Совсем не важно то, что допытывался от Покасанова генерал. Все равно подсудимые виноваты в сговоре на бегство.

Третий член суда, пехотный полковник, пожилой рыхлый

блондин, тяжело ворочался на судейском стуле, громко сопел и вздыхал. Его явно мучил Покасанов. Он весь вспыхнул, поняв, что дело обстоит совсем не так просто, как он раньше думал, и он тоже стал допрашивать Покасанова, но наивно и неуклюже, так что Покасанов совсем овладел собой и опять твердил свои заученные показания, как граммофонная пластинка.

Еще один член суда, сидевший крайним направо от председателя, тоже пехотный полковник, маленький желчный человек, с тонкими черными усами и лысой плоской головой, нетерпеливо суетился и что-то порывисто записывал карандашом на листе бумаги. Всей своей фигурой он негодовал против заведомой лжи, накрученной в этом деле.

Когда допрос перешел к прокурору, он предъявил Покасанову всех подсудимых, чтобы тот назвал их поименно.

Подсудимые поочередно вставали, звякая цепями. Покасанов резко называл их фамилии.

— Итак, ты знаешь их всех,— сказал прокурор.— Расскажи теперь, кто из них что делал при нападении на конвой.

Покасанов молчал, оглядывая подсудимых, и как будто припоминал. Все в зале застыли, а у подсудимых потемнели лица.

Свидетель тяжело перевел дыхание.

— Не могу знать, ваше высокородие,— опять по-солдатски отрезал Покасанов. И этот ответ по формуле из солдатской словесности сразу разрядил тот почти общий ужас казни, что сгустился в зале при вопросе прокурора.

Я отказался от допроса Покасанова, но просил оставить его в зале, и вслед за ним ходатайствовал допросить Чернецкого.

XV

— Хотя вы не принимали присяги, — обратился председатель к Чернецкому, когда его привел дежурный офицер,— но и вы должны показывать только правду.

— Хорошо,— уверенно отозвался Чернецкий.— Я расскажу по порядку, что сам видел... Когда пришла партия, я понес на этап мясо (я заготовляю его для каждой партии, иначе его купить в Кутарбитке арестантам негде). У ворот встретил Покасанова. Он был тогда не такой, как сейчас,— и Чернецкий оглядел в упор Покасанова, который неподвижно стоял тут же рядом, боком к нему.— Он был тогда веселый. Сказал мне, что в партии хороший парень—каторжанин Гудзий, из крестьян, вот тот, что сидит на краю справа,— указал он пальцем на Гудзия.— Ну, и этот тоже был не такой, как сейчас. Его узнать нельзя.

— Почему его нельзя узнать?— прервал председатель.

— Он теперь худой и страшный, а тогда был здоровый. Мы поговорили с Покасановым, и он пропустил меня в этап. Когда я вошел, староста уголовных Савка собирал деньги на водку. С Савкой ходил по камерам Коврыга и был уже здорово пьян, матюкался бессмысленно и грозил всех бить... Сколько они собрали, не знаю. Только мальчик, сын этапщика, Степа, что вертелся с ними, побежал по их поручению домой, взял у матери мешок и потом принес из казенной лавки три четвертных бутылки водки. Когда Степа вошел с мешком на спине, то кричал на весь этап: «Не тронь, а то разобью. Тише! Тише!» Савка его встретил, отогнал Коврыгу, принял у Степы мешок, и я видел, как вынул осторожно одну за другой три бутылки. Конечно, их тотчас распили. Сами пили чайными кружками, других оделяли водочным стаканчиком. Но пили почти все.

— Постойте. А вы пили?— прервал его председатель.

— Да, выпил и я... Мы были в камере Гудзия. Пили чай и закусывали. Савка принес бутыль, где водки было еще половина или больше. Степа держал стаканчик, а Савка всем наливал по очереди. Участвовал и я.

— А конвойные пили?— спросил председатель.

— Которые были в этапе, конечно, пили,— ответил Чернецкий спокойно и просто, как он давал все свое показание.

— Уж что пили, всем известно. Когда потом перетаскивали убитых, ворошили и укладывали их в могилу, то несло водкой. Крестьяне даже удивлялись, что сивушная вонь так долго не выходит.

Слушая Чернецкого, пухлый полковник грустно, тяжело вздохнул и спросил:

— Скажите, за что вы лишены всех прав состояния и сосланы на поселение?

— За политику осудил меня военный суд,— отозвался Чернецкий.

Он рассказывал действительно только то, что видел и знал, правдиво до последних мелочей, вдумчиво и энергично, так что его рассказ захватил всех, даже секретаря и прокурора, даже явно не желавших верить ему казачьих полковников-судей. Он рассказывал про кровавое дело Покасанова и конвойных солдат. но говорил с таким отношением к виновникам его, с такой глубокой правдой, что было легко слушать его рассказ, даже когда он передавал, например, со слов Покасанова, об убийстве Стася или о том, как он сам наблюдал через стены этапа, по слуху, за избиением оставшихся там арестантов, по крикам и

стонам и по своему собственному воображению. Весь тон его показания был мягкий и примиряющий.

Когда Чернецкий рассказывал все это, рядом с ним, в двух шагах, перед судейским столом стоял Покасанов, вытянувшись, с руками по швам, неподвижный, как в гипнозе, с бессмысленными глазами, «евшими», по казарменной привычке, лоб генерала. К концу этого рассказа о его деяниях Покасанов побледнел до полной, мертвенной белизны. Он покачивался, и мне казалось, что он вот-вот упадет под тяжестью своих страшных дел.

Когда Чернецкий кончил, я попросил дать ему очную ставку с Покасановым.

— Покасанов, повернись к нему,— сказал председатель.

Тот сделал по-солдатски полуоборот налево и уперся глазами в лоб Чернецкого.

— Скажи теперь, так это было? — предложил председатель.

— Ни-и-ка-ак не-ет,— нетвердо, шопотом пролепетал Покасанов, едва удерживаясь на ногах.

— Голубчик, Степан Иванович,— мягко, сострадательно позвал его Чернецкий.— А Стася помнишь? А слезы свои, какими мочил мои щеки, помнишь? А как каялся тогда, хотел вешаться, помнишь? Не бойся, береги совесть, говори правду. А то их повесят твоим языком,—строго добавил Чернецкий, взяв Покасанова за плечо.

Тот не сопротивлялся. Все замерли в зале, ожидая его ответа. Но Покасанов промолчал, застыв на месте, как неживой, под взглядами сотен человеческих глаз.

— Повернись ко мне,— сказал председатель.— Скажи теперь, как это было?

— Ни-и-ка-ак не-ет,— ответил сорвавшимся голосом Покасанов.— Дозвольте уйти... Дозвольте уйти... Так что уморился. Больше не могу,— добавил он едва слышно.

Председатель приказал ему сесть в рядах публики, но оставаться в зале, отпустил Чернецкого и объявил перерыв.

XVI

После этих показаний следствие по существу было закончено. Полные внутренней правды показания Чернецкого так повернули все дело, что сами подсудимые вполне уверовали в избавление от казни. В перерыве заседания они, забывшись, громко говорили, делясь друг с другом впечатлением от очной ставки, изображали в лицах, как Чернецкий взял Покасанова

за плечо, смотрел в глаза и убеждал покаяться. Они радостно улыбались мне, как люди, мимо которых уже прошла смертельная опасность, и так оживились, что звон и лязг их двойных цепей как-то даже радостно наполнял весь зал.

После перерыва начался допрос по очереди всех солдат из конвоя Покасанова. Они выходили один за другим, с укупоренными наглухо душами, и отвечали перед судом наизусть, как робкие ученики на экзамене, о той измышленной «геройской» схватке с арестантами, длившейся около двух часов, рассказ о которой был записан у ротмистра и у судебного следователя. Бессвязно давая свои затверженные показания, они явно страшились суда и наказания и, стоя перед генералом, ждали только возможности поскорее уйти.

А председатель, добиваясь правды, спрашивал каждого, что он делал, когда была перебита половина, три четверти или большая часть арестантов. И все одинаково упорно твердили, что они продолжали драться до конца под командой Покасанова. На все другие вопросы генерала, прокурора и мои свидетели-солдаты отрывисто отвечали только казенными словами:

— Не могу знать.

— Никак нет.

Пока так допрашивали, приводили и уводили одного за другим шестнадцать свидетелей-солдат, прошло часа полтора. И все в зале быстро привыкли к этому однообразному процессу и начали томиться и скучать.

Наконец следствие кончилось. Председатель объявил перерыв до следующего дня. Все встали, и оживленный шум голосов наполнил зал. Я пошел к председателю. По его виду я сразу понял, что ему и судьям дело казалось ясным. В эту сессию это было уже третье страшное дело, из которых два первых прошли благополучно [1]. И ясно было, что в этом страшном деле трагедия закончилась двадцатью двумя смертями на этапе, и что в суде, несмотря на все давление на судей со стороны властей, при этом председателе смертных приговоров не будет.

Чтобы успокоить меня, Кригер громко сказал:

— Ну, и молодец ваш Чернецкий. Один разъяснил все дело.

И тихо добавил:

— 279-я статья во всяком случае исключена.

---

[1] Дело политического ссыльно-поселенца И. Ф. Рогожина по обвинению в убийстве начальника Тобольской каторжной тюрьмы Богоявленского и дело о бунте в Тобольской каторжной тюрьме № 2, описанные ниже.

По существу дело было закончено. Критер и двое судей пехотных полковников, т.-е. три голоса из пяти, уже стояли за оправдание. Двое судей, казачьи полковники, могли требовать от них только какого-нибудь, не очень большого относительно, наказания.

От генерала я пошел к подсудимым, передал свой разговор с председателем.

Вернувшись в номер гостиницы, я застал телеграмму, вызывавшую меня в суд, который должен был заседать в городе Туринске, по обвинению некоего юноши Георгия Руднова по делу о взрыве бомбы в слободе Туринской.

Я опять покатил на бойком сибирском извозчике обратно в военное собрание, советоваться с генералом Кригером, что мне делать, и он посоветовал мне спокойно ехать.

— Я считаю, что все обстоятельства дела вполне разъяснены. Едва ли речи сторон могут внести что-нибудь новое,—сказал председатель.

Уезжая в Туринск, я оставил дальнейшую защиту подсудимых тобольскому частному поверенному Василию Николаевичу Пигнатти. Затем отправился прощаться с подсудимыми и просить их разрешения на отъезд. Они были огорчены, но без колебаний отпустили меня, и я уехал на лошадях в Тюмень (264 версты) и затем немедленно в Туринск (еще 170 верст).

Проездом в Тюмени я получил условленную телеграмму от Пигнатти, что суд оправдал всех девятерых по обвинению в нападении на конвой с целью побега, т.-е. по 279-й статье, и лишь продлил им сроки каторги за то, что, уйдя с этапа, они воспользовались этим случаем для побега, а не явились добровольно к властям для ареста.

Это было сделано очень дипломатично, так как прокурор ни при каких условиях оправдательный приговор не оставил бы без протеста, а главный военный суд в таком случае наверное отменил бы его, и в новом составе суда все девять наверное были бы осуждены на казнь. С другой стороны, этот соглашательский по виду обвинительный приговор по существу являлся оправданием, так как очень мало отягчал положение подсудимых, и без того осужденных по прежним своим приговорам на каторгу без срока или не менее, чем на двадцать лет.

Чтобы не поднимать вопроса о поведении конвоя, прокурор так же дипломатично, как и следовало ожидать, оставил приговор генерала Кригера без протеста, и все девять моих подзащитных были спасены.

XVII

Дней через десять, вернувшись домой из Туринска, я застал у себя письмо. Товарищ по ссылке, вызвавший меня в Тобольск на защиту по Кутарбитскому делу, писал мне, что после суда Покасанов и солдаты, бывшие в его конвое, вспоминая подробности показаний Чернецкого на суде, очень оробели за себя, приходили советоваться и спрашивали, не будет ли теперь и над ними всеми суда. И хотя он успокаивал их, они не вполне верили ему и наседали на Покасанова, а Покасанов злился, ругал своих солдат за их страхи и грозил страшной местью Чернецкому.

«...но вчера ночью,— заканчивалось письмо,— когда в казарме все стихло, Покасанов вскочил, подкрался к пирамиде ружей, схватил винтовку, закричал и бросился в столовую казармы, где в середине длинной стены помещался киот с иконой Христа и перед ним паникадило с лампадой. Покасанов с разбегу подлетел к киоту, начал бешено колоть штыком лицо Христа на иконе. Его связали и отправили в дом умалишенных».

Прошло еще месяца два, и товарищ написал мне, что в доме умалишенных Покасанов повесился.

БУНТ В ТОБОЛЬСКОЙ КАТОРЖНОЙ ТЮРЬМЕ № 2

Тюрьма номер второй.

Это необычайное по глубокому трагизму в положении обвиняемых дело произошло в июле 1907 года, в г. Тобольске, в одной из двух его каторжных тюрем, полных тогда политическими заключенными. Судебный процесс вскрыл наружу те приемы тогдашних хозяев политического положения, которыми они стремились морально уничтожить своих пленных противников, уже после ареста, суда и ссылки на каторгу, т.-е. после «изъятия их из обращения».

В Тобольске, на Горе [1], находилось небольшое деревянное здание с большим пустынным двором, окруженным высокими деревянными палями. Это бывшая больница сгоревшей в 1905 г. от поджога арестантами большой каторжной тюрьмы № 2. Здание тюремной больницы с двумя уцелевшими в его ограде флигелями (конторой и квартирой смотрителя) в августе 1906 года было отведено под помещение политических каторжан, которые первыми после октябрьской амнистии 1905 года попали в г. Тобольск отбывать кандальный срок. В течение второй половины 1906 года здесь были помещены девятнадцать политических каторжан: Дмитрий Тахчогло, Борис Марков, Евгений Трофимов, Барышанский, Павел Иванов, Иоил Жохов, Лейба Заславский, Элья Друй, Сергей Калмыков, Виктор Кубицкий, Лейба Бирбауер, Нахим Рабинович, Даниил Шлаен, Зиля Аппельбаум, Мариан Трохонович, Николай Карабанович, Карл Прокопе, Степан Буров, Иван Семенов.

Перевод сюда политических каторжан из большой Тобольской каторжной тюрьмы (носящей название «номера первого») поначалу имел, повидимому, ту цель, что начальство опасалось

---

[1] Название части города, расположенной на гористом берегу р. Иртыша, занятой старым кремлем (созданным руками пленных шведов), присутственными местами и тюрьмами.

«дурного влияния» политических каторжан на уголовных, опасалось расстройства в ней сурового режима, заведенного тогдашним начальником ее Богоявленским.

Руководство новой политической тюрьмой было предоставлено тому же Богоявленскому.

Поначалу тюремный режим был более или менее сносен. Заключенные имели весьма хорошее, по русскому тюремному масштабу, помещение, продолжительные общие прогулки, выписку, не терпели больших стеснений в переписке с родными, главное — не испытывали «наступлений» начальства, оскорбляющих их человеческое достоинство. Но Богоявленский, человек, любивший «порядок» в столыпинском значении этого слова, с трудом переваривал этот режим. Очевидно, сносное положение политических каторжан оскорбляло его начальнические чувства, и он пообещал каторжанам «подтянуть их». Скоро он предъявил к ним требование, чтобы при его появлении в камерах каторжане становились «во фронт», держали «руки по швам», кричали: «здравие желаем», и, в случае исполнения, обещал им всевозможные льготы. Заключенные отнеслись к этому требованию насмешливо и наотрез отказались от его исполнения. Тогда Богоявленский распорядился оставить их на три недели без прогулок. Заключенные, в свою очередь, подали ему заявление, что они отказываются иметь с ним какие бы то ни было сношения, отказались от посещения тюремной конторы и предложили Богоявленскому не входить к ним в камеры. Богоявленский исполнил это. Дипломатические сношения, таким образом, были на время прерваны, но военных действий на этот раз начальник не открыл. Вся история прошла в несерьезном тоне и кончилась совершенно благополучно.

Постепенно между начальником тюрьмы и заключенными установился порядок отношений, более или менее сносный для заключенных. Для каторжан «номера второго» наступило время, получившее на их языке название «дней блаженства». Помещались они в больших камерах по три человека, имели выписку, прогулки, сносное питание, «слабые» кандалы, снимавшиеся на ночь, имели книги и письменные принадлежности и кое-какое свое белье (рубашки и полотенца). Иногда даже они допускались на кухню для приготовления пищи из выписанных продуктов.

Так жизнь тюрьмы текла до января 1907 года. Но вот при обыске в одной из камер был найден кусок балки, вынутой из стены для подкопа. Почти одновременно в переплете из переданных «с воли» книг был найден паспорт. Воспользовавшись

этим, начальство открыло наступление. Каторжанам была воспрещена переписка с родными на всех языках, кроме русского. А так как среди них был один финн (Прокопе) и несколько поляков и евреев, умевших писать только на родном языке, то для этих заключенных распоряжение равнялось воспрещению всяких сношений с родными.

Полагая, что названное распоряжение есть лишь начало целой серии новых стеснений, заключенные объявили «оборонительную» голодовку, с требованием восстановления переписки. На третий день голодовки у них были отобраны матрацы, книги, письменные принадлежности... и заключенные «посажены на парашу». Однако, на этот раз голодовка окончилась удачно: переписка была восстановлена, и постепенно вернулся прежний режим.

Дальше до марта жизнь «номера второго» протекала мирно и тихо. Но вот в начале великого поста начальник тюрьмы вдруг предъявил к заключенным решительное требование, чтобы при входе его, Богоявленского, и всякого другого начальства они не только вставали, но и одевались в «парадную» арестантскую форму — халат — и становились во фронт. Заключенные опять усмотрели в этом стремление к издевательствам над их человеческим достоинством и хотя по тону Богоявленского поняли, что он решил взять «новый курс», однако они не подчинились. Тогда вновь были отобраны матрацы, вновь прекращена выписка, ограничены прогулки и т. д. Несмотря на это, они не решились тогда объявить голодовку, так как. истощенные январской голодовкой, долго выдержать ее не могли. Им казалось, что голодать через каждые два месяца «не расчетливо». Поэтому они заняли выжидательное положение. Богоявленский не заставил долго ждать. Однажды он пришел к ним в камеры убеждать подчиниться его распоряжениям. Утомил и надоел им в самой сильной степени. И вот, когда он уходил, заключенные Рабинович и Друй сели раньше, чем он успел совсем выйти из камеры. На следующий день их обоих позвали в контору под предлогом получения писем и там объявили распоряжение о переводе в «номер первый», схватили и посадили там в светлый карцер на десять дней.

Тогда их товарищи в «номере втором» объявили Богоявленскому и всей тюремной администрации так называемый «бойкот», т.-е. при входе начальствующих лиц не обращали на них никакого внимания, «не принимали начальства» (не вставали), не ходили в контору, не убирали камер и т. д.

С своей стороны, Рабинович и Друй, посаженные в карцер,

объявили голодовку, с требованием обратного перевода их в «номер второй». На пятый день голодовки начальство освободило их от карцера и перевело на общее положение, но оставило в «номере первом», поместив их совершенно отдельно от всех остальных каторжан этой тюрьмы, в женском ее отделении.

Тем временем на «бойкот», объявленный заключенными «второго номера», начальник ответил отобранием от них всех вещей, и они весь великий пост провели на голых досках, без единой вещи, кроме халатов, без книг, без письменных принадлежностей, лишенные выписки, питались лишь постной казенной пищей. До этого случая заключенные легко снимали на ночь кандалы. С великого поста эта «вольность» также была прекращена. Их всех перековали. Несмотря на все меры, они весь пост твердо выдерживали «бойкот», до тех пор, пока сломили жестокое упорство начальства.

На страстной неделе Богоявленский предложил им мир, с восстановлением прежнего режима. Но прежде, чем пойти на эту уступку, Богоявленский сделал еще одну попытку морально сокрушить своих противников. В контору был вызван за письмами заключенный Тахчогло, считавшийся начальством за духовного вождя всей этой борьбы заключенных за свое человеческое достоинство. В конторе его схватили и увели в «номер первый». Там его посадили в одиночку.

Возмущенный и взбешенный этим обманным переводом, Тахчогло разбил стекла в окне своей камеры, бил мебель, двери, стучал, шумел, вообще протестовал, как мог. Его побили и перетащили в темный карцер. Тогда Тахчогло объявил голодовку, с требованием обратного перевода в «номер второй». Ему пришлось голодать десять дней. Когда он ослабел, то в его камеру стали приносить всякие вкусные вещи и всячески убеждать прекратить голодовку. Но он не сдавался, и, наконец, был возвращен во «второй номер».

В марте же, во время описанного великопостного движения, которое заключенные, шутя, называли своим «великим движением», окончился кандальный срок каторжан Карабиновича и Бирбауера. Несмотря на их заявления, Богоявленский не снял с них кандалов. Тогда они сами сбросили их и отдали надзирателю. В ответ на это они были вновь закованы и посажены в карцер. На страстной неделе все эти истории, как указано выше, окончились возвращением к старому режиму. Дальше с апреля по июль жизнь тюрьмы № 2 протекала более или менее покойно. В средине же июля разыгрались те самые трагические

события, которые послужили предметом судебного разбирательства.

Обвинительный акт излагал эти события следующим образом.

Обвинительный акт.

«16 июля 1907 года, заключенные в Тобольской № 2 каторжной тюрьме, каторжане, в числе шестнадцати человек, заявили, что не позволят произвести в своих камерах обыска, и когда вр. заведывающий тюрьмой № 2 Кларин с надзирателями приступили к обыску, то каторжане эти, вооружившись скамейками, досками от кроватей и отломанными от кроватей же ножками, не допустили его, Кларина, и надзирателей в свои камеры, вследствие чего пришлось обратиться к содействию караула и нижних чинов, высланных из баталиона, с помощью которых порядок был восстановлен, но так как нижними чинами при этом пущено было в ход оружие, то в результате оказалось, что один из каторжан был убит, а несколько из них ранены.

«На произведенном по сему поводу предварительном следствии показаниями опрошенных в качестве свидетелей: смотрителя тюрьмы Богоявленского, помощников его Кларина и Шаганова, старшего надзирателя Желтоновского, старшего унтер-офицера 9-го пехотного сибирского резервного Тобольского полка Пушнякова и того же полка ефрейтора Бузынина и рядового Гамезы, обстоятельства настоящего дела представились в следующем виде:

«Еще задолго до 16 июля среди заключенных в Тобольской № 2 каторжной тюрьме замечалось возбужденное состояние вследствие неудовольствия распоряжениями тюремной администрации. 14 июля тюрьму посетил тюремный инспектор, и когда зашел в камеру, где помещались арестанты Рабинович и Бирбауер, то последние не встали и на вопрос инспектора: «Почему не встаете?» — ответили: «Не считаем нужным». 15 июля старший надзиратель Желтоновский доложил времен. заведывающему тюрьмой № 2 помощнику смотрителя Кларину, что арестанты просят его к себе для переговоров, и когда Кларин пришел в тюрьму, то арестант Тахчогло обратился к нему со словами: «До сведения нашего дошло, что в тюрьме № 1 наказаны розгами три политических наших товарища. Этим поступком всем нам — политическим — брошен вызов. Принимая этот вызов, мы решили позор этот смыть кровью, а потому при первом случае и умрем все». После того заключенные, кроме

четырех человек (Бурова, Прокопе, Воловинского и Вильданова [1]), подали вр. заведывающему тюрьмой № 2 Кларину коллективное письменное заявление о том, что 16 июля ими задуман бунт, при чем заявление это подписали шестнадцать человек.

«Найдя положение дела весьма серьезным, Кларин доложил обо всем тюремному инспектору, который приказал произвести утром 16 июля в камерах каторжан тщательный обыск для обнаружения, нет ли у них каких-либо орудий к приведению в исполнение задуманного 16 июля бунта. Утром 16 июля Кларин, вместе с другим помощником смотрителя, Шагановым, и тремя или четырьмя надзирателями, направился в тюрьму № 2 и, зайдя в камеру, где помещались арестанты Марков, Аппельбаум и Трохонович, объявил о цели своего прихода, на что арестант Марков ответил: «Этого добровольно мы сделать не позволим, а если хотите привести в исполнение свое намерение, то перебейте нас всех»; арестант Трохонович сказал: «Истязали наших товарищей, так убейте и нас»; из других же камер стали раздаваться крики: «Товарищи! не позволяйте производить обыск». В это время часовой, бывший у окон тюремного корпуса, доложил Кларину и Шаганову, что все заключенные вооружились досками с кроватей, скамейками, ножками от кроватей и другими вещами, бывшими в камерах. чтобы воспрепятствовать производству обыска, а также, чтобы выбить двери и броситься на них. Видя, что дело не может обойтись без употребления силы, Кларин, не приступая к обыску, доложил обо всем инспектору, который приказал вызвать по телефону смотрителя тюрьмы Богоявленского, который вскоре и явился вместе с двадцатью нижними чинами Тобольского резервного полка. Его появление встречено было криками арестантов: «Палач! Кровопийца!» и т. д. Тогда Богоявленский распорядился поставить по два солдата около каждой двери, на тот случай, по словам Богоявленского, чтобы предупредить взлом дверей, после чего приступлено было к обыску, для чего Богоявленский, Шаганов, два или три надзирателя, унтер-офицер Пушняков и три нижних чина вошли в камеру, где помещались Тахчогло, Жохов и Иванов. Эти арестанты оказались вооруженными досками, и на предложение Богоявленского успокоиться и положить на место доски, арестанты вновь стали кричать: «Убийца, кровопийца! Убьем, никто не подходи». Богоявленский приказал воинским чинам взять

[1] Воловинский и Вильданов — уголовные каторжане. повара тюремной кухни.

Тахчогло, Иванова и Жохова. По показанию Шаганова, Тахчогло вскочил на койку с доской в руках, намереваясь ударить кого-либо из вошедших в камеру, но этому помешал унтер-офицер Пушняков, выбив у него доску из рук прикладом винтовки и сбросив его самого с кровати, после чего арестанта Тахчогло силою вытащили из камеры № 1 и водворили в одиночную камеру. В то время, когда это происходило, во всех камерах поднялся большой шум: арестанты били стекла в окнах, ломали двери досками и скамьями, кричали: «Кровопийцы!» и проч.; в это же время вдруг раздалось несколько выстрелов один за другим, при чем, по словам Пушнякова, стреляли без всякой команды, и когда он, Пушняков, выскочил в коридор и приказал прекратить стрельбу, то было уже поздно: в камере № 2 один арестант — Иван Семенов — оказался убитым, а арестант Карабинович — раненным, при чем у последнего — огнестрельная рана на бедре левой ноги. Кроме Карабиновича, различного рода повреждения получили арестанты: Марков, Аппельбаум, Жохов, Тахчогло и Иванов.

«Из протокола осмотра убитого арестанта Ивана Семенова видно, что смерть последовала от безусловно смертельного повреждения черепа и мозга пулей из винтовки.

«Из протокола же осмотра помещения, занимаемого каторжной тюрьмой № 2, усматривается, что в некоторых камерах стекла в окнах оказались выбитыми, мебель поломана, в камере, где помещался арестант Карабинович, на полу найдена отломанная ножка скамейки, в той же камере обнаружено стрелянное отверстие в стекле окна, такое же отверстие в стекле окна в камере № 3; в камере № 2, где найден труп Семенова, все в беспорядке: окна в нижней части выбиты изнутри, двери хотя не поломаны, но сильно побиты тоже изнутри и, повидимому, досками; пять кроватей, столики и скамейки — все в беспорядке: дверь этой камеры снаружи прострелена в шести местах.

«Из протокола осмотра писем заключенных в Тобольской № 2 каторжной тюрьме: Калмыкова, Семенова, Рабиновича, Карабиновича, Иванова, Жохова, Тахчогло, Трофимова, Друйя. видно, что арестанты эти еще раньше 16 июля готовились к бунту и что неповиновение, оказанное ими распоряжению тюремного начальства и выразившееся в том, что они не допустили 16 июля утром произвести у себя в камерах обыск, было подготовлено всеми обвиняемыми заблаговременно, вследствие принятого ими решения вызвать 16 июля какие бы то ни было беспорядки, хотя бы это стоило смерти.

«По словам свидетелей-каторжан Бурова и Прокопе, о бес-

порядках, имевших быть 16 июля, они знали еще заранее, а потому накануне просили выделить их от прочих арестантов в отдельную камеру, каковая просьба их и была уважена, при чем, по заявлению Кларина, когда он спросил Бурова и Прокопе, почему они пожелали «уйти в одиночку», то они ответили, что не желают участвовать в «волынке», затеваемой арестантами.

«Спрошенные в качестве обвиняемых арестанты Тахчогло. Иванов, Жохов, Друй, Заславский, Калмыков, Кубицкий, Бирбауер, Рабинович, Трофимов, Шлаен, Аппельбаум, Трохонович, Карабинович и Марков отказались дать по делу какое-либо объяснение.

«В письменных на обвиняемых сведениях значится, что все они по приговорам различных военно-окружных судов присуждены к каторжным работам: 1) Дмитрий Тахчогло — на 15 лет (взамен смертной казни); 2) Павел Иванов — на 12 лет; 3) Иоил Жохов — на 16 лет (взамен смертной казни); 4) Элья Друй — без срока; 5) Лейба Заславский — без срока (взамен смертной казни); 6) Сергей Калмыков — на 16 лет (взамен смертной казни); 7) Виктор Кубицкий — на 16 лет (взамен смертной казни); 8) Лейба Бирбауер — на 10 лет (взамен смертной казни); 9) Нахим Рабинович — на 10 лет (взамен смертной казни); 10) Евгений Трофимов — на 15 лет; 11) Даниил Шлаен — на 20 лет (взамен смертной казни); 12) Зиля Аппельбаум — без срока; 13) Мариан Трохонович — на 8 лет; 14) Николай Карабинович — на 4 года, и 15) Борис Марков — на 4 года [1].

«Из отношения тобольского генерал-губернатора военному прокурору Омского военно-окружного суда от 10 сентября сего года, за № 989, видно, что настоящее дело, на основании п. 6 ст. 19 правил о местностях, объявленных на военном положении, изъято названным генерал-губернатором из общей подсудности, для суждения виновных по законам военного времени.

«В виду изложенного, все вышеназванные каторжные арестанты подлежат обвинению в том, что, будучи недовольны тюремной администрацией за то, что она подвергла трех политических заключенных тюрьмы № 1 наказанию розгами, они согласились между собою, в виде протеста против таковой меры, произвести бунт в тюрьме 16 июля сего 1907 года, и означенного числа, когда смотритель тюрьмы Богоявленский, помощник его Кларин и другие чины администрации в сопровождении

---

[1] В дополнение и изменение этих казенных сведений относительно обвиняемых приводим в виде особой главы, в конце статьи, автобиографии, сообщенные ими самими.

воинской команды явились для производства в камерах обыска, то они, обвиняемые, стали угрожать, что не допустят произвести у себя обыск, при чем хотя и не употребили с своей стороны никакого насилия для приведения означенной угрозы в исполнение, но, вооружившись досками от кроватей, отломанными от кроватей же ножками, скамейками и другими предметами, бывшими в камерах, стали шуметь, браниться, ломать двери и выбивать стекла в оконных рамах камер, чем вызвали необходимость употребить против них в дело оружие, последствием чего была смерть арестанта Семенова и поранение трех других арестантов. Деяние это для каждого из обвиняемых предусмотрено 264 ст. Улож. о Наказ. Угол. и Испр., изд. 1885 года, и 437 ст. и Уст. о ссыльных, изд 1890 года (по продол. 1902 г.), а потому и в силу вышеприведенного распоряжения тобольского генерал-губернатора о суждении виновных по законам военного времени, а также и на основании 260 и 262 ст. XXIV кн. С. В. П. изд. 3-е, заключенные Тобольской каторжной № 2 тюрьмы преданы Омскому военно-окружному суду тобольским временным генерал-губернатором.

«Составлен 2 октября 1907 г. Омск».

Судебное заседание.

3 ноября 1907 года обвиняемые предстали пред Омским военно-окружным судом. Доставлены они были в заседание суда, происходившее в г. Тобольске, в здании военного собрания, под конвоем в пятьдесят человек, в ножных и ручных кандалах. Ручные кандалы при таких мерах предосторожности представлялись совершенно излишними, и обвиняемые предполагали покинуть зал судебного заседания, если наручники не будут с них в суде сняты. Но председатель суда, генерал-майор Кригер [1], вообще отнесшийся к ним с величайшей корректностью, распорядился снять наручники до входа обвиняемых в зал заседания [2]. Все обвиняемые вошли в суд бодрые, с гордо поднятыми головами, и все время суда держались с полным достоинством.

После долгой процедуры опроса обвиняемых и чтения обвинительного акта все обвиняемые заявили, что виновными себя не признают.

Началось судебное следствие. Все свидетели обвинения из чинов тюремной администрации, надзиратели и конвойные сол-

---

[1] Военный судья Кригер был отчислен от военно-судебного ведомства за гуманность.

[2] Несмотря на закрытые двери, в зале было человек сорок публики.

даты подтвердили на суде обстоятельства, как они изложены в обвинительном акте. Никаких вопросов обвиняемые им не предлагали и не делали никаких возражений против их показаний. После допроса первого же из них Тахчогло от имени всех обвиняемых заявил, что свидетели обвинения принадлежат к числу их усмирителей, и из их уст они не надеются услышать правды, а потому ни допрашивать их, ни возражать им они не будут. Свидетелей же Прокопе и Бурова они считают своими товарищами, которые с общего согласия не участвовали в протесте только потому, что им, не знакомым хорошо с условиями русской политической жизни, была непонятна принципиальная сущность протеста [1]. Свидетели Буров и Прокопе подтвердили, что они выделены были в особую камеру с общего согласия, по заявлению, сделанному начальнику тюрьмы обвиняемым Тахчогло.

Свидетели—помощник смотрителя, надзиратели и конвойные держались на суде, в общем, очень скромно. Они больше всего старались доказать, что ни они сами и никто из их подчиненных не стрелял. Надзиратели делали предположения, что стреляли солдаты, а солдаты утверждали, что стреляли надзиратели. Как началась стрельба, по чьему приказу, по их словам, осталось совершенно невыясненным. Лишь свидетель, помощник смотрителя Кларин, дал добросовестные показания. Из его ответов на вопросы защитника выяснилась ужасающая картина подробностей усмирения.

Едва свидетель доложил Богоявленскому, что обвиняемые заявили ему, что не дадут добровольно произвести обыск, тот немедленно явился в тюрьму с двумя полувзводами солдат. Еще на дворе тюрьмы Богоявленский сильно взвинтил и возбудил солдат против заключенных. Когда вошли в коридор, то он расставил их у дверей камер, приказал не стесняться с «этой сволочью» и велел стрелять при первом стуке в двери. Когда после стрельбы вошли в камеры, то Богоявленский заставил солдат бить обвиняемых прикладами. Когда переводили всех в одну камеру, то тоже били прикладами всех, кто не успевал увернуться. Над раненным в ногу Карабиновичем, лежавшим на полу, Богоявленский и взводный унтер-офицер Пушняков обсуждали вопрос, не приколоть ли его. Когда Тахчогло, сбитый с ног ударами приклада, лежал на полу, то Богоявленский приказал Пушнякову бить его еще, и т. д. и т. д.

---

[1] Буров — малограмотный уголовный каторжанин, а Прокопе — финн, не знавший русского языка.

Никаких ножек от кроватей и железных прутьев у обвиняемых не было. Когда после усмирения вытаскивали кровати, то все они оказались целыми.

После усмирения обвиняемые были оставлены в совершенно голых стенах, без одной вещи, кроме халатов и ящика с парашей. Они были переведены на карцерное положение, не только без выписки, без прогулок, но даже без умывания. Так они просидели до 27 июля, когда к ним явился новый смотритель, вместо убитого 26 июля на улицах г. Тобольска Богоявленского. Новый смотритель постепенно вернул старый порядок.

После допроса свидетелей был оглашен протокол осмотра помещения тюрьмы, из которого выяснилось, что в камеры было произведено несколько десятков выстрелов.

Письма.

По просьбе защитника, на суде были оглашены письма убитого Семенова и других заключенных.

Письма эти были написаны ими накануне 16 июля и должны были быть переданы «на волю», для отсылки родным, каким-то нелегальным путем, но по случайности не попали по назначению и были присоединены судебным следователем к делу. Письма эти полностью вскрывают весь трагизм положения обвиняемых, и поэтому мы помещаем их целиком.

1. Письмо Ивана Семенова.

«Дорогая мама! Шлю тебе сердечный привет с пожеланием всего хорошего. Дорогая мама, может быть, когда ты получишь это письмо, меня не будет в живых. Я не буду описывать тебе подробно, почему это так, напишу вкратце. Троим из наших товарищей дали розги. Мы не можем оставить этот позор без внимания, а поэтому решили смыть этот позор кровью. Завтра мы поднимаем бунт, и, наверное, нас переколют штыками. Другого выхода у нас нет, как только умереть. Дорогая мама, прошу тебя, не плачь обо мне и не упрекай меня, что я причинил тебе много горя. Иначе я поступить не мог. Не буду описывать, почему не мог, так как ты этого не поймешь. Итак, прости, прощай. Целую тебя без счета раз.

Твой любящий сын.

---

[1] Убит 16 июля. Письмо запечатано в конверте с адресом: «В Тверскую губ., на почтовую станцию в Микулино-Городище, в дер. Беблево, Ульяне Корниловой».

«Дорогие братья! Николай, Дмитрий и Яков!

«Пишу вам последний, может быть, братский привет и пожелания всех вам благ. Дорогие братья, я умираю не потому, как вы думаете, наверное, благодаря своей молодости и неопытности, а меня убивает правительство, и только оно будет виновато в моей смерти. Прощайте. Целую вас всех. В а ш б р а т.

«Шлю привет всем сестрам. Целую их. Прощайте. И в а н.

«Шлю привет невесткам. Прощайте, прощайте. И в а н.

«Шлю прощальный привет всем знакомым. Прощайте. Дорогая мама, прощай, прощай. Целую тебя без счета раз. И в а н С е м е н о в. 15 июля 1917 г. 10 ч. вечера.»

2. Письмо Тахчогло профессору Ярошенко в Одессу.

«Как я уже писал, в тюрьме № 1 мало-по-малу собралось около ста человек политических. От общения с ними нас старательно оберегают, и довольно успешно. Только последнее время удалось кое-что узнать.

«...Волнения в № 1 начались чуть не с первого дня. Администрация, как водится, пользуясь их незнакомством с условиями каторжного режима, сделала попытку скрутить их в бараний рог. Не дали им ни одной из тех льгот, по сравнению с уголовными, которыми пользуемся мы. Письма, книги, выписку, прогулку общую и более или менее продолжительную, белье, носки, полотенце, вежливое обращение — им пришлось завоевывать. Средством борьбы они выбрали бойкот администрации и снятие оков. Вокруг снятия оков и разыгралось все нижеследующее. Их заковывали четыре раза, при чем каждая ковка сопровождалась целым рядом инцидентов, создававших все более и более разгоряченную атмосферу. Белье сначала дали хорошее, а затем, спустя некоторое время, отняли. В виде протеста они разорвали старое и ходили некоторое время голыми. Книги тоже сначала (после борьбы) дали, а потом большую часть отняли и т. д.

«Четвертый раз заковывали ночью. После заковки рассадили по одиночкам и карцерам... на хлебе и воде... и отняли все, до пера и чернил включительно...

«Сегодня мы получили такие известия: восьмерых товарищей, в том числе старосту Вишнякова (с ним мы имели кое-какую переписку), забрали в другое отделение — очевидно, как зачинщиков. Троим дали по тридцати ударов розог. Таким образом «Рубикон перейден».

Дальше в письме описывается, что в виду таких известий заключенные потребовали свидания с кем-либо из товарищей из № 1. Начальство наотрез отказало. Тогда они объявили бойкот администрации и сняли свои кандалы. 10 июля их заковали вновь. Они не сопротивлялись, но сейчас же по окончании ковки вновь сбросили свои кандалы. Затем описывается, как начальник тюрьмы, убеждая их покориться, говорил им: «С вами обращаются, как с людьми: дали вам книги, носки... А вы этого не понимаете»... (Человек хвастается тем, что он с людьми обращается, как с людьми. Какой великолепный экземпляр царской хулиганщины!)

«Во время заковки мы все время демонстративно пели. А когда появился Богоявленский, то раздалась во время пения страшная какофония. Во время пения на нас не наскакивали. Видно, успели привыкнуть к этому милому обычаю революционеров. 14-го числа нас снова заковали. Кончили заковку всех часов в восемь—десять утра. К вечеру мы вновь начали работу перепиливания... Часов в десять потухла лампа в одной из камер (она была плохая, коптила, и выгорел керосин). Доложили начальнику. Явился с солдатами бравый унтер, стал размахивать ружьем во все стороны и ругаться матерным словом. Начальник безмолвствовал, считая цель достигнутой: преступники терроризованы... Минут пять спустя удалились... Бить никого не били...

«15-го утром перековали двух. 15-го же узнали о порке трех товарищей в первом номере.

«...Возбуждение огромное... Это первый случай со времени Кары. Все, даже мало сознательные, поняли, что на это надо ответить всей силой своего мужества и решимости. Обсудив, постановили итти на смерть... соответственно с переживаемым революционным моментом, встретить смерть лицом к лицу с врагом.

«К четырем часам вызвали начальника и заявили ему устно и письменно с тем, чтобы он передал, куда следует: «Политические каторжане № 2 считают, что наказание розгами есть тягчайшее насилие над личностью, которое искупается только кровью. Узнав о наказании трех товарищей и обсудив создавшееся положение, политические каторжане заявляют, что этим деянием тобольская администрация бросила вызов всем политическим заключенным. Политические каторжане второго номера принимают этот вызов и объявляют, что они предпочитают смерть от кровавых насилий дикого произвола позору

глумления и издевательства над священными правами человека и гражданина». (Следуют подписи 16 человек.)

«Дали срок до 10 часов 16 июля, к которому должны быть приведены двое из номера первого на свидание для выяснения обстоятельств совершившегося насилия. В случае неисполнения начнем громить... идем на штыки...

«Начальник держался корректно, внимательно слушал и в конце протоворился: «Да, к сожалению, это правда». Собственно говоря, можно было бы начинать, но не сговорились. Пришлось оставить свое прежнее решение.

«Вот все в немногих словах.

«Теперь 12 часов ночи, везде не спят, так как мы ожидаем ночной атаки, например, могут взять меня, могут отобрать мебель, вещи и т. д. На этот случай решили оказать сопротивление до последней крайности, т. е., проще, подвергнуться расстрелу или бойне. Низший персонал тюрьмы, надзиратели держатся с нами прилично, но раздражены против нас по своей темноте.

«О себе скажу, что я вполне бодр, могу даже сказать, один из самых бодрых, так как во мне идея неминуемой трагедии на случай сечения давно-давно созрела. Как будет завтра, предсказать не берусь — может быть, убьют большинство, может быть, только искалечат и свяжут. Во всяком случае прощаюсь с вами. Горячо всех обнимаю. Крепко, крепко целую дорогую мамочку. Пусть не тужит она... Жизнь революционера, как и жизнь воина на поле сражения, ежеминутно подвергается опасности. Момент катастрофы с неумолимой неизбежностью наступает для всякого, кто раз навсегда отверг путь компромисса-приспособления. Разумеется, во много раз лучше пасть в настоящем бою, рука об руку с сознавшими себя пролетариями. Но когда жизнь ставит задачу, ее надо решать, а не строить планы насчет будущего. Не знаю, дойдет ли это письмо: путь не надежен. Во всяком случае, как бы завтра ни было, умереть в тех или иных условиях, рано или поздно, нескольким из нас необходимо. Пока я не приговариваю себя к смерти в дальнейшем, но завтра не уклонюсь, наверное, от меткой пули.

«Еще раз горячо целую. Я глубоко верю в нашу народную победу... У меня нет никаких сомнений, что после долгих конвульсий великан-народ, наконец, выпрямится во весь рост.

«Деньги мои должны быть переданы в Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. Всем друзьям братское прости. Мамочку берегите.

Ваш любящий Дмитрий.»

3. Письмо Трофимова.

«Дорогой Цезарь! Шлю тебе и другим друзьям-товарищам свой привет. Сегодняшний день, вероятно, будет для нас последним. В первой каторжной тюрьме высекли трех политических каторжан. Это трубое насилие, издевательство над всеми нами в лице этих «трех» возмутило нас так глубоко, что мы решили активно защищать наше человеческое достоинство. Завтра утром или сегодня вечером мы начнем бунтовать... Заставим перестрелять себя. Лучше смерть, чем такая позорная жизнь. Горячо обнимаю всех товарищей.

Е. Трофимов.»

4. Письмо С. Калмыкова.

«Родные. в виду насилия и чудовищных экзекуций тюремной администрации над товарищами, находившимися в каторжной тюрьме № 1, я решил умереть, ибо не в силах переносить всего этого чудовищного инцидента, происходившего в каторжной № 1 тюрьме. О смерти моей, надеюсь, узнаете после. Шлю вам прощальный привет. Прошу вас, обо мне не думайте. Прощайте, простите. Желаю видеть свободной Россию...

С. Калмыков.»

5. Письмо Н. Рабиновича.

«Администрация принимает такие меры для нашего угнетения, что лучше умереть, чем жить такой позорной жизнью... Я тебе писал о борьбе нашей с администрацией за свидания с товарищами из № 1. Средством борьбы мы избрали бойкот администрации и всяческое нарушение тюремного режима, как сбрасывание кандалов, невставание пред начальством и т. д. Этот, так сказать, фазис пассивной борьбы продолжался около трех недель.

«12 июля утром пришел начальник в сопровождении целой ватаги надзирателей и повел всех заковывать. На второй день опять сбросили кандалы. Опять заковали. То же самое было сегодня. Подобное положение могло бы затянуться до бесконечности, не приводя ни к каким результатам ни с той, ни с другой стороны, если бы администрация сама не позаботилась вызвать нас на более активный протест. (Например, вчера вечером в одной из наших камер погасла лампа, так как вышел керосин. Вошел солдат, бросился на товарищей с винтовкой за то, что они будто бы потушили лампу.)

«Затем сегодня утром мы получили известие из первого номера, что там высекли трех политических розгами. Оставаться

спокойными зрителями этого грубого издевательства над товарищами-революционерами, смотреть равнодушно на нарушение элементарных прав человеческого достоинства — это противно нашей человеческой и революционной нравственности. У нас нет никаких шансов выйти из этого боя победителями, но мы умрем почетной смертью, и товарищи на воле не оставят нашу смерть не отомщенной. Прощай, сестра. Обнимаю тебя и целую твоего мужа и детей. Нахим.

«Извини, сестра, что посылаю тебе письмо без марки: денег нет.»

6. Письмо...

«Быть может, последний раз пишу вам... 10-го, во вторник, в № 1 тюрьмы состоялась экзекуция (порка розгами) над тремя политическими. И притом остальных посадили в карцеры и одиночки. Наш долг поддержать товарищей, хотя бы пришлось поплатиться жизнью. Вчера нам принесли циркуляр, в котором сказано, что каторжанам полагается писать письма только к родителям, и то два раза в год. Притом курение табаку начальник имеет право запретить, а также сажать нас в карцер и пороть розгами, что уже и началось. Но чем переносить такой позор, лучше умереть. Следите за газетами и узнаете результаты. Сегодня ночью разобьем тюрьму — это наш протест против экзекуции...» (Подпись неразборчива.)

7. Письмо...

«... Не держитесь той мысли, что я умираю за себя. Нет. Правительство, которое представляет из себя... (не разобраны две строки) оно за последнее время держит себя сверх человеческих сил. Да. Оно позволило себе высечь розгами трех друзей народа. Мы, все 16 человек, обязаны защищать свою честь, т. е. честь политических, и показать, что на каждое насилие мы можем дать отпор. Дорогие... и все труженики, не падайте духом. Мстите врагам, давящим... весь бедный честный люд... прошу вас, не печальтесь, переносите все несчастья, постигшие вас, бодро и смело... Жизнь требует этого.»

Дальше описывается случай, бывший в 80-х годах с политической каторжанкой Сигидой. Кончается письмо следующими словами:

«Может быть, это последнее письмо. Прощайте. Через десять часов решение, но чувствуем себя очень хорошо и бодро. Сейчас не могу описывать подробно...» (Подпись неразборчива.)

Заключение судебного следствия. Речи.

После оглашения приведенных писем суд по просьбе обвинителя огласил следующее анонимное письмо, приложенное к делу.

«Начальнику тюрьмы Богоявленскому [1].

«Нами получены сведения из Тобольской каторжной тюрьмы № 1, что вы бесчеловечно обращаетесь с нашими товарищами, политическими и уголовными заключенными, за что и объявляем вам смертный приговор, который и не замедлим исполнить.

Инкогнито.»

Суд установил, что 26 июля Богоявленский был убит на улице г. Тобольска. Затем суд перешел к прениям сторон.

Поддерживавший обвинение по делу помощник прокурора Омского военно-окружного суда указал в своей речи, что несомненной причиной всего дела было применение в каторжной тюрьме № 1 наказания розгами к трем политическим каторжанам. Несмотря на то, что об этом следует пожалеть, все же нельзя на этом основании оправдывать обвиняемых. Они виноваты в том преступлении, которое инкриминируется им обвинительным актом, ибо все обстоятельства, изложенные в нем, подтверждены полностью показаниями свидетелей. Перейдя затем к вопросу о применении наказания, прокурор указал, что, как ссыльно-каторжные, обвиняемые, по закону, могли бы быть подвергнуты телесному наказанию. Но, конечно, об этом не может быть и речи в данном деле.

Закончил он свое слово просьбой отнестись к подсудимым гуманно и мягко.

Защищая подсудимых, я сказал в своей речи следующее [2]:

«Господа военные судьи. Представитель обвинения назвал действия подсудимых преступлением. Это глубоко неправильно. Судебное следствие раскрыло пред нами вовсе не преступление, а страшную драму.

«Больше. Пред нами прошла трагедия людей, «виновных» только в том, что они защищали свое человеческое достоинство. Пред нами трагедия, разыгравшаяся в масштабе старых греческих трагедий. Чтоб отнестись к ней правильно, вы должны понять ее психологическое содержание.

«И к счастью для вас, для вашей совести, вам легко будет

---

[1] На почтовых марках штемпель: «Тобольск 14-7-07».

[2] Приведенная часть речи передана по стенограмме.

понять ее. Все вы принадлежите к военной среде, в которой существует особый культ офицерской чести. В нашей среде выработался особый кодекс обычного права, регулирующего обязанности офицера по защите своей воинской чести. Право это чрезвычайно категорично в своих велениях и неумолимо строго: оно требует, чтобы каждое оскорбление офицера было смыто кровью.

«В среде русских политических заключенных за долгую историю политических гонений также выработался свой кодекс обычного права. Как во всякой замкнутой среде, это право заключенных так же строго и неумолимо в своих императивах. Оно охватывает все стороны жизни политических узников, но здесь, на суде, нам важно вскрыть только один из его отделов. касающийся прав человеческой личности, прав человеческого достоинства.

«Как прослежено русской литературой, в России, при грустных особенностях ее политической жизни, делают людей политическими преступниками как раз те качества души, которые во всех других культурных странах создают людям выдающееся общественное положение. Русская жизнь делает так называемыми «политиками» всех людей, одаренных особой чуткостью к положению угнетенных и оскорбленных и обладающих некоторой независимостью нрава и способностью жить без крупных компромиссов с своей совестью. При отсутствии возможности открытой политической борьбы, для каждого «политика» у нас рано или поздно уготована тюрьма, ссылка, каторга и кандалы.

«И вот едва двери тюрьмы за ним захлопнулись, вся его прежняя, часто яркая, молодая жизнь пропала. Пропали все его прежние отношения с людьми, составляющие его общественную личность, пропало и ценнейшее из всех благ человеческой жизни — свобода. Среди такого внезапного опустошения у заключенного остается одна радость, одно благо... Но благо величайшей ценности, — это сознание, что жизнь пройдена без компромиссов, по велениям совести и долга. Оно дает ему, повышенное особым настроением мученичества, сознание достоинства своей личности.

«Политические заключенные бывают живы, им живут, пока сохраняют его. Они берегут его, как своего бога. И каждая политическая тюрьма живет только культом этого бога. Для заключенных потерять его — значит погибнуть морально. Отсюда твердое, как железо, правило их обычного права предписывает им: «лучше умереть, чем претерпеть оскорбление в своем человеческом достоинстве».

«Теперь вы поймете, гг. судьи, какой ужас должна была родить в душах подсудимых весть о сечении их товарищей в каторжной тюрьме № 1. Ведь наказание розгами не только оскорбление, не только надругательство над человеком, оно есть полное демонстративное уничтожение его человеческой личности. Оно для них не только хуже смерти, оно хуже виселицы. И не думайте, гг. судьи, что я теоретизирую, что все это только умозаключение. Я вам сейчас докажу историческими фактами, что это не теория, а жестокая правда русской политической жизни.

«История русских политических гонений до последнего времени знала лишь два случая сечения розгами политических заключенных, и оба они заканчивались кровавыми драмами, как и тобольский случай.

«Первый раз это было в Петербурге в семидесятых годах... По приказу тогдашнего петербургского градоначальника Трепова был наказан розгами в Доме предварительного заключения политический арестант Боголюбов. Этот акт администрации вызвал всеобщее негодование... Среди же заключенных и в революционной среде он родил неописуемый ужас. Но, как вы знаете, гг. судьи, исторический выстрел Веры Засулич в генерала Трепова быстро создал развязку этой драмы... И присяжные заседатели (не революционеры, а самые обыкновенные, заурядные петербургские обыватели) своим приговором «совести» оправдали Веру Засулич. Они оправдали ее потому, что поняли ту психологию заключенных, которую я вам сейчас очертил.

«Второй раз это было в восьмидесятых годах в Карийской тюрьме. Политическая заключенная Сигида оскорбила тогда действием начальника тюрьмы с целью протеста против невыносимых условий тюремного режима, в расчете, что она будет повешена за это, что своей смертью она привлечет общественное внимание к положению своих товарищей по заключению и таким способом добьется улучшения в их положении. Но она трагически ошиблась в своих надеждах. В глухой Сибири все происшествие осталось в тиши тюремных канцелярий, а Сигида, вместо виселицы, была наказана ста ударами розог, по распоряжению генерал-губернатора. Она умерла, а все ее товарищи (кажется, шесть или восемь человек) достали в тюремной аптеке яду и отравились. Некоторые из них остались живы, ибо яду добыто было недостаточно для всех... И они об этом жалели...

«Сечение розгами политических каторжан в Тобольской каторжной тюрьме в июле текущего года уже повлекло за собою

смерть политического каторжанина Ивана Семенова и смерть начальника тюрьмы Богоявленского.

«Как видите, гг. судьи, то положение, которое я сейчас развил пред вами, вовсе не теория... Его выработала сама история. Она создала то строгое требование морали русских политических заключенных, которое формулируется в словах: «сечение хуже смерти, хуже виселицы». Чтобы застраховаться от этого ужаса, необходимо в критический момент заставить убить себя, или умереть. И я уверен, гг. судьи, что, как офицеры, как люди с сильно развитым чувством чести, вы не только признаете, что это требование морали политических заключенных неумолимо для них, но и легко поймете его своим сердцем.

«15 июля текущего года оно, как рок, повисло над политическими каторжанами Тобольской каторжной тюрьмы № 2. С неумолимой силой рока оно заставило их устроить свой протест, именуемый здесь бунтом, с расчетом достигнуть моральной победы посредством физической смерти.

«Некоторым из нас, по крайней мере, необходимо умереть», говорится в одном из оглашенных здесь писем. И все заключенные в своих письмах, написанных ими родным в ночь на 16 июля, готовятся к смерти.

«И не думайте, гг. судьи, что слова этих писем — только слова. Нет. Все они тогда так думали и так чувствовали.

«Настало утро, и рок свершился. Все испытали стрельбу и приклады. Над всеми висела тогда возможность смерти... А для Ивана Семенова наступила и самая смерть.

«После этого я с полным правом говорю вам: Гг. судьи. Пред вами сидят на скамье подсудимых люди, которые всеми силами. какие у них были, защищали свою честь, защищали свое человеческое достоинство, защищали своего бога. Судите их».

В дальнейшем я перешел к анализу квалификации «преступления» подсудимых по 264 ст. Ул. о Нак., доказывая неправильность применения этой статьи, и требовал применения ст. 273 Ул., при осуждении по которой наказание должно было утонуть в тех бесчисленных годах каторги, которые уже лежали на плечах подсудимых.

Последнее слово. Приговор.

От имени всех обвиняемых говорил Тахчогло, произнесший глубоко волнующую речь, которая произвела на присутствующих сильнейшее впечатление. Его вибрировавший, но твердый голос звучал такими трагическими нотами, и, в то же время, его ясный взгляд и его улыбка верующего в будущее мученика наполняли

слушателей таким умилением пред обаянием его личности, что трудно было не плакать даже людям с совершенно притупленными чувствами. К сожалению, точного текста его речи у нас не осталось, но общее содержание ее можно передать следующими словами [1].

«Прежде всего,—говорил Тахчогло,—мы считаем необходимым заявить суду, что в том протесте, поднятом нами в защиту своего человеческого достоинства, за который мы судимся, мы действовали все солидарно, вполне сознательно и добровольно, не принуждая друг друга. В этом суд может легко убедиться из того факта, что мы выделили сами, по собственной инициативе, из участия в протесте наших товарищей Прокопе и Бурова.

«Мы выделили их потому, что считали их неспособными «вместить» то, что предстояло вынести нам. Они, по нашему убеждению, не могли перенести этого, вследствие их малого знакомства с общими условиями русской политической жизни. Поэтому-то мы предложили им перейти в особую камеру, и они приняли наше предложение. Но и теперь они остаются такими же нашими товарищами, как были раньше, несмотря на то, что они не участвовали в нашем протесте. Мы считаем необходимым отметить это, чтобы не осталось никаких сомнений, что мы действовали все совершенно свободно, по внутреннему убеждению.

«В этом протесте никто никого не подстрекал и не побуждал. Все были одинаково полны негодования, все считали одинаково необходимым защищать свое достоинство, свою личность, и все одинаково протестовали, с решимостью умереть, против низкого издевательства над нашими товарищами из номера первого. При допросе свидетелей у г. прокурора была тенденция выделить из нас зачинщиков. Но в этом отношении свидетели ему ничего не дали. Да они и не могли ему здесь ничего дать, так как зачинщиков в действительности не было. Для каждого из нас наш протест был страстным протестом негодующей души, в нем не было никаких расчетов, и уже по этому одному не могло быть никаких зачинщиков.

«С тех пор, как мы были переведены в номер второй, нам не раз приходилось протестовать против отношения к нам бывшего начальника тобольских каторжных тюрем Богоявленского. Мы не раз прибегали к бойкоту его и всей тюремной администрации и к голодовкам. Но все наши протесты всегда имели строго духовную сущность, все они были протестами души, а не тела. Мы не боролись за улучшение материальных условий существо-

---

[1] Речь Тахчогло восстановлена мною по памяти тотчас после суда.

вания на каторге. Но мы всегда вели и всегда будем вести борьбу с тюремной администрацией за сохранение своей человеческой личности.

«Нам нет нужды передавать здесь всю историю этой борьбы. Укажу только, что в начале нашего заключения в номере втором Богоявленский предлагал нам многоразличные льготы, под условием, чтобы мы согласились вставать перед ним и перед другим начальством во фронт и кричать: «здравие желаем». Естественно, что мы не могли отнестись к этому предложению иначе, как саркастически. Однако, этот случай прошел без серьезных осложнений.

«В начале же марта текущего года, великим постом, тот же Богоявленский потребовал от нас, чтобы при его появлении в камерах мы одевались в «парадную форму», т.-е. в халаты. Мы усмотрели в этом требовании стремление унизить нас, издеваться над нами и решительно отказались его исполнить. За это мы провели весь пост на карцерном положении и претерпели еще многое другое.

«Наш защитник верно охарактеризовал вам наше положение, утверждая, что мы можем жить, только сохраняя и оберегая свое человеческое достоинство. Его мы бережем и будем беречь до последних сил, до тех пор, пока живы. Не только наши чувства, но и наш долг, как социалистов, как членов партии, приказывает нам беречь его. Мы знаем, что наше дело, наша партия жива только до тех пор, пока живы ее моральные силы, ибо можно физически уничтожить человека, но нельзя уничтожить идеи, пока люди терпят за нее гонения и за нее умирают. Поэтому, как члены партии, мы боремся за свое человеческое достоинство, чтобы сохранить достоинство партии, ее жизнь... И будем бороться за него до конца. И в следующий раз поступим так же, как поступили 16 июля.

«Телесное наказание — одно из самых диких проявлений старого режима. Он долго и цепко держался за него для применения к крестьянской массе, как бы инстинктивно сознавая, что, пока оно применяется, в нации не может проснуться широкое чувство человеческого достоинства. Несмотря на долгий и упорный общественный протест, правительство долго не желало отказаться от розог. Но вот, наконец, подул свежий ветер, и телесное наказание для крестьян было отменено. Затем оно было отменено и в армии, так как ныне, после японской войны, стало всем ясно, что человек, не имеющий личного достоинства, человек, которого можно стегать, как скота, не может носить в себе живой идеи отечества и не может стойко защищать его.

«Это позорное наказание осталось теперь у нас только в каторжных тюрьмах. Но и здесь оно уже давно отжило свой век. Настоящее дело — лучшее доказательство этого. Но власть и тут упорствует. Повидимому, она даже склонна начать применение его к политическим заключенным. Но пусть она упорствует. Этим она только шире роет пропасть между собою и своим народом.

«Нас, социалистов, она не сломит. Где бы мы ни были, куда бы нас ни угнали, мы всюду будем кричать:—Да здравствует социализм!.. Да погибнет современный порядок!»

На этом речь Тахчогло остановил председатель заявлением, что это уже лишнее и не относится к делу.

Тахчогло ответил, что он сказал все, что хотел.

Остальные подсудимые от последнего слова отказались.

После речи Тахчогло суд удалился для постановления приговора. Прошло три часа томительного ожидания, прежде чем он был объявлен.

Приговором суда все обвиняемые были осуждены на 10 дней одиночного заключения и на продолжение сроков каторги на 6 месяцев, т. е., по существу, оправданы.

Автобиографии обвиняемых.

«Дмитрий Тахчогло. Русский, 30 лет, из дворянской интеллигентной семьи среднего достатка. Получил высшее образование в Петербургском университете по физико-математическому факультету. Студентом познакомился с марксизмом и народничеством. Активно участвовал в студенческих движениях в 1896, 1899 и 1900 гг., был неоднократно высылаем. Занимался в кружках (интеллигентских, по естественным, общественным наукам).

«С 1901 года, по окончании военной службы в качестве вольноопределяющегося, стал работать в с.-д. партии в качестве пропагандиста, сначала в Херсоне, а потом в Ростове-на-Дону. В конце 1903 года, состоя членом Донского комитета партии, был арестован по делу о комитете партии. Сидел в тюрьме больше года. Выпущен под залог.

«Работал в 1904 — 1905 гг. в Одессе и Екатеринославе в большевистских организациях. В 1905 году 1 мая, после неудавшейся демонстрации, направляясь домой, был остановлен полицией с целью ареста. Оказал сопротивление, ранил пристава. Военным судом в г. Екатеринославе 4 сентября был приговорен

смертной казни, по амнистии — к 15-летней каторге. В Тобольске с 18 июля 1906 года» [1].

«Павел Иванов. Русский, 24 лет, мещанин г. Ямбурга, сирота. Воспитывался в крестьянской семье в Петербургском уезде, Петербургской губ., д. Новой. Учился дома и школы сельской не посещал. С 12 лет работал в деревне на бумажной фабрике, а также по крестьянскому хозяйству. С 17 лет жил в Ораниенбауме и был занят в торговом предприятии. 21 года был призван на службу и зачислен в крепостной батальон в г. Кронштадте.

«В 1904—5 году в солдатских кружках ознакомился с освободительным движением. С 17 октября был в числе лиц, готовящихся к вооруженному восстанию. 26 октября, в день восстания, был замечен офицером на улице и оказал сопротивление при задержании. 13 декабря военным судом в Кронштадте был приговорен за сопротивление офицеру, за неисполнение приказания начальства к 12 годам каторги. В Тобольской каторжной тюрьме с 4 июня 1906 года».

«Иоиль Жохов. Русский, 22 лет, рабочий. С 15 лет работал токарем на Путиловском заводе в Петербурге. Сын рабочего, мастера того же завода, среднего достатка.

«С рабочим социалистическим движением познакомился в 1905 году после крушения гапоновщины. До этого состоял членом гапоновской организации. Судился в марте 1905 года по делу о нападении на ссудо-сберегательную кассу, явившемся следствием постановления с.-д. боевой дружины (г. Петербург). Последнее время состоял членом социал-демократической организации меньшевиков. Осужден на 16 лет каторги (замена смертной казни). В Тобольской каторге с 18 июля 1906 года».

«Элья Друй. 27 лет. Родился в мест. Креславке, Витебской губернии, в бедной еврейской семье. С 11 лет начал работать на щеточной фабрике и своим заработком поддерживал родителей.

«В 1900 году познакомился с социалистическим движением. Как член с.-д. партии, а затем Бунда, работал в Баку, Одессе, Ви-

---

[1] Упоминаемый в статье Дм. Дм. Тахчогло неоднократно и после описанного здесь протеста вел борьбу в каторжных тюрьмах за личное достоинство революционера. Насколько редакции известно, он в 1908 году в Тобольской тюрьме, в виде протеста против издевательства тюремной администрации, вскрыл себе жилы. Будучи переведен в г. Зерентуй, он и там участвовал в борьбе политических каторжан с тамошним тюремным начальством. Срок каторги им был закончен в Александровской центральной каторжной тюрьме, откуда он в 1914 году вышел на поселение. Февральская революция застала его в г. Иркутске. — Ред.

тебске. С 1905 года состоял членом боевой дружины партии. В 1905 году, состоя членом Бунда, был арестован за вооруженное нападение на городового с целью освободить товарища во время июльского восстания «Потемкина».

«Судился военным судом в 1906 году по 279 ст. и был приговорен к бессрочной каторге. По кассации прокурора главный военный суд отменил приговор одесского суда и заменил бессрочную каторгу смертной казнью, которая по амнистии заменена 15-летней каторгой. С 18 июля 1906 года находится в Тобольской каторжной тюрьме.»

«Лейба Заславский. Еврей. Родился в бедной семье в 1885 году. До 12 лет учился в еврейской школе. Затем, за неимением средств, вышел из школы и поступил на коробочную фабрику, где работал два года, а потом поступил в слесарную мастерскую учеником.

«Массовые аресты рабочих в Киеве в 1900 году вызвали сочувствие к пострадавшим и резкое оппозиционное настроение по отношению к правительству. Хотя в то время не был знаком с социализмом и, следовательно, в партии не входил, но принимал деятельное участие в экономической борьбе рабочих. В 1904 году познакомился с с.-д. агитатором и вступил в партию. В 1905 году, когда начались всеобщие забастовки и другие революционные выступления масс и партия с.-д. предложила киевским рабочим вооружиться и организоваться в дружины, вошел в состав одной из них.

«13 декабря был арестован за покушение на городового с целью освободить задержанного тем товарища. 15 января 1906 года был присужден Киевским военно-окружным судом к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой».

«Сергей Калмыков. 20 лет. Русский, рабочий-слесарь Путиловского завода. Сын рабочего из бедной семьи. В 1904 г. поступил на Путиловский завод.

«В 1905 году вступил в с.-д. кружковую организацию, потом перешел в боевую организацию с.-д. В январе 1906 года, как член дружины, должен был участвовать в вооруженном нападении на государственную сберегательную кассу на Забалканском проспекте. По этому делу был арестован 8 февраля, и 10 марта присужден СПБ военно-окружным судом к смертной казни, которая была заменена 16-летней каторгой. На каторге с 18 июля 1906 года».

«Виктор Кубицкий. 21 года, русский, рабочий-слесарь Путиловского завода. Сын рабочего из бедной семьи. В 1903 году поступил на Путиловский завод.

«В 1905 году, в апреле, вступил в с.-д. кружковую организацию. В декабре 1905 года стал членом боевой дружины с.-д. В январе 1906 года, как член боевой дружины, участвовал в вооруженном нападении на государственную сберегательную кассу на Забалканском проспекте. По этому делу был арестован 14 февраля, и 10 марта присужден СПБ военно-окружным судом к смертной казни, которая была заменена 16-летней каторгой. На каторге с 18 июля 1906 года».

«Бирбауер Борис. Сын мелкого собственника. Учился дома. Родился в 1887 году. 15 лет поступил в типографию В это время познакомился с программой партии Бунда, в которой работал до 1905 года, когда стал анархистом. 28 января 1906 г. был арестован в городе Вильне при экспроприации от имени группы. Военно-окружным судом осужден на смертную казнь, которая заменена 10 годами каторги. В Тобольске с 18 июля 1906 года».

«Нахим Рабинович. Сын купца. 20 лет. Родился в гор. Бердичеве, Киевской губ. До 13 лет учился в еврейской школе. В 1904 году поступил в Житомирскую гимназию, из 7-го класса которой исключен в 1905 году за участие в еврейской самообороне. Занимался частными уроками.

«С социалистическим учением познакомился в 1904 году, в кружках сионистов-социалистов, которым сильно симпатизировал. В 1905 году познакомился с учением Кропоткина, приверженцем которого и стал. Принадлежал к бердичевской группе анархистов-коммунистов, в которой принимал активное участие.

«В 1906 году арестован в Вильне за групповую экспроприацию. Присужден Виленским военно-окружным судом к смертной казни, замененной 10 годами каторги. На каторге с 18 июля 1906 года».

«Евгений Трофимов. Сын полковника, русский, род. в 1886 г., жил до половины 1904 года в Вильне. В последних классах гимназии познакомился с социалистическим учением. В начале 1904 года примкнул к только что образовавшейся группе с.-р. в гор. Вильне.

«17 марта 1905 года был арестован в Петербурге. При аресте пытался оказать вооруженное сопротивление. 20 ноября того же года был осужден Петербургским военно-окружным судом на смертную казнь (по ст. 279), которая по указу об амнистии заменена 15 годами каторги. По дороге в Тобольск окружной суд за побег прибавил 10 лет каторги».

«Даниил Шлаен. Еврей, 21 года. Родился в мест. Видзы, Ковенской губ., в бедной семье. С 14 лет стал работать

в столярных мастерских. 16-ти лет работал на картонной фабрике в г. Вильно.

«С 17 лет участвовал в движении в течение двух лет. В 1905 году познакомился с анархистским учением и сделался членом виленской группы анархистов-коммунистов и оставался таковым до ареста в январе 1906 года. Судился по делу об экспроприации от имени группы анархистов-коммунистов в г. Вильно и был присужден к смертной казни. По ходатайству родных смертная казнь была заменена 20 годами каторги. В Тобольской каторге с 18 июля 1906 года».

«Зиле Аппельбаум. Еврей, 25 лет, родился в м. Коженицах, Радомской губ., в бедной семье. С детства (10 лет) работал на ткацкой фабрике в течение четырех лет. Кризис заставил изучить другую профессию — сапожное ремесло. Самостоятельно стал работать с 17 лет.

«С социалистическим движением познакомился в 1900 году. С 1901 года был членом партии Бунда и как таковой работал в Варшаве, Брест-Литовске и Лодзи. В 1905 году был членом боевой дружины Бунда. Участвовал в партийных выступлениях по поводу наказания розгами в полицейских участках Лодзи (в 1905 году), по поводу избиения участников собрания в Белостоке Бунда. Осужден по делу о вооруженном сопротивлении (убийство городового) при аресте на смертную казнь, которая заменена бессрочной каторгой, а затем по амнистии — 15-летней каторгой. В Тобольске с 18 июля 1906 года».

«Мариан Трохонович. Австрийский подданный, поляк, 30 лет, член польской социалистической партии с 1895 г. Сын рабочего. С 12 лет работал сначала учеником, с 20 лет самостоятельно. По профессии столяр. В России работал с 1902 г. Участвовал в вооруженных демонстрациях партии в гор. Варшаве. Последнее время, с 1905 года, был членом боевой организации. Арестован по делу о покушении на освобождение члена партии Окшей. Варшавским военно-окружным судом 13 сентября 1905 года осужден на 8 лет каторги. С июля 1906 года находится в Тобольской каторжной тюрьме».

«Николай Карабинович. Потомственный почетный гражданин г. Севастополя, родился в 1881 году, 1 мая. Из бедной семьи. Работал во временно-командированном цехе Путиловского завода в гор. Севастополе. Единственный сын, был взят на военную службу—по какой причине, неизвестно. Служил в Старом Петергофе, лейб-гвардии Конно-гренадерском полку. На военной службе подвергался несколько раз аресту за неисполнение приказаний. При этом был осужден за то же

в военную тюрьму два раза. Уклонялся под разными предлогами от поездки на усмирение в С.-Петербург. К партии ни к какой не принадлежал, но симпатизировал партии с.-р. Будучи на военной службе, решил не участвовать в карательных отрядах, посылаемых нашим полком. Когда Аврамов и Жданов так поступили со Спиридоновой, окончательно перешел на сторону с.-р. чувствами. И хотел уйти со службы и быть одним из членов партии с.-р., боевой дружины, но был арестован. Осужден за вооруженное сопротивление во время ареста на 4 года каторжных работ СПБ военно-окружным судом. Арестован в январе 1905 года».

«Борис Марков. Сын горного чиновника, родился в Салаирском руднике, Алтайского округа. в 1884 году. 17 лет окончил Барнаульское горное училище, получив права горного штейгера.

«С социалистическими идеями познакомился, еще будучи учеником, но в социалистические организации не входил, так как их тогда не было в Сибири. В 1904 году отправился в Россию с целью принять участие в революционном движении. Работал несколько месяцев в одесской рабочей организации с.-р., а затем вступил в сношения с боевым отрядом партии с.-р. 12 января 1905 года был арестован в Сестрорецке, и 20 ноября того же года был осужден СПБ военно-окружным судом по 2-й части 126 ст. на 12 лет каторги. По манифесту 17 октября и несовершеннолетию срок каторги был уменьшен до 4 лет».

«Иван Семенов [1]. Родился в бедной крестьянской семье в Тверской губ., в 1885 году. В начале 1900-х годов приехал в СПБ и поступил рабочим на Путиловский завод. Не вступая формально в социалистические кружки, занимался распространением с.-д. литературы и был в 1903 году административно выслан на родину. В январе 1905 года вернулся в СПБ и опять поступил на Путиловский завод, примкнул к с.-д. партии и работал в подрайонном комитете, а затем перешел в боевую дружину.

«31 января 1906 года участвовал, как член боевой дружины, в нападении на ссудо-сберегательную кассу на Забалканском проспекте. По этому делу был 8 февраля арестован, и 10 марта присужден СПБ военно-окружным судом к смертной казни, которая была ему заменена 20 годами каторги. 16 июля 1907 года был убит в Тобольской каторжной тюрьме № 2, во время протеста против телесного наказания».

---

[1] Биография И. Семенова сообщена Д. Тахчогло.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ НАЧАЛЬНИКА ТОБОЛЬСКОЙ КАТОРЖНОЙ ТЮРЬМЫ БОГОЯВЛЕНСКОГО.

В июле 1907 года в Тобольске был убит начальник каторжной тюрьмы Богоявленский. Убит он был после так называемого «бунта» политических каторжан [1].

В Тобольске, во время благотворительного гулянья в Саду Ермака, к начальнику каторжной тюрьмы подошел вплотную какой-то молодой человек в тот момент, когда Богоявленский подъезжал к воротам Сада, и два раза выстрелил ему в бок из браунинга. Публика в панике разбежалась, оставив на месте убитого Богоявленского, лежащего ничком в своем экипаже.

В суматохе убийца успел скрыться.

Иван Федорович Рогожин, политический ссыльно-поселенец, жил по соседству с тем домом, в ворота которого убежал убийца. Поэтому у Рогожина произвели обыск, и хотя ничего не нашли, однако задержали и стали предъявлять очевидцам преступления. Кучер убитого, старик, первый высказал предположение, что, по его мнению, Рогожин «мог стрелять» в его барина, а потом так уверился в этом, что, поднимая глаза и пальцы правой руки кверху, как на присяге, таинственно шептал:

— Истинный бог, — он стрелял. Истинный бог, — он убил. Он.

После нашлась горничная соседнего дома, которая твердила, что ей кажется, «быдто» Рогожин похож на того, кто стрелял в Богоявленского. Одна девочка-гимназистка, с наивным миловидным лицом, тоже показывала, что Рогожин похож на стрелявшего.

Всех «очевидцев», показавших, что Рогожин стрелял в Богоявленского, было пять человек, и это делало почти безнадежным его положение перед военным судом.

---

[1] «Бунт» этот описан в предыдущем очерке.

Я получил пропуск на свидание к Рогожину в первый раз через три месяца после его заключения. Он готовился к ожидавшей его казни, и та особая тень смерти, которую я часто наблюдал потом на лицах приговоренных, уже покрывала потусторонним налетом его простое, но мученическое в то же время лицо. Несмотря на свою невиновность, сам Рогожин тоже считал свое положение перед судом безнадежным и впереди видел только виселицу.

— Вы — первый человек, которого я вижу здесь,— сказал он мне.— Ко мне ходили следователи, прокуроры и начальствующие лица, желавшие посмотреть на убийцу Богоявленского.

Я смутился и, виновато и растерянно взглянув в его глаза. сказал:

— Плохо, но еще есть надежда.

В это первое свидание мне пришлось пробыть у него в камере часа два, обсуждая с ним способы защиты. И когда я уходил разбитый, почти отчаявшийся в возможности его спасения. лицо Рогожина сияло только что рожденной надеждой на жизнь.

Маленький, уснувший «каторжный» город, с деревянными ветхими мостовыми, застыл от ужаса, когда приехал Омский военный суд, чтобы судить Рогожина и еще около двадцати человек по другим «висельным» делам, как говорил секретарь этого суда про все дела с обвинением по 279-й статье.

В Тобольске все знали самого Рогожина, многие знали и о его невиновности, волновались и ужасались возможности казни над ним.

Когда я ехал со свидания, извозчик сибирским говором спросил меня:

— Что слышно? Повесят, аль нет? Может, сошлют-от на каторгу?

Я объяснил, что возможны только два исхода: или казнь, или оправдание. Извозчик не поверил такой, с его точки зрения, нелепости и перестал спрашивать меня о военном суде.

В гостинице ко мне являлись совсем неизвестные мне люди, говорили, что они знают, что Рогожин невиновен, и предлагали быть свидетелями.

Когда я приехал в офицерское собрание, где помещался суд, председатель суда генерал-майор М. Ф. Критер встретил меня в канцелярии очень любезно, но с таким безнадежным видом. что я почувствовал внутренний озноб.

Не сдержавшись, я здесь же, в канцелярии, при писарях, начал доказывать генералу невиновность Рогожина. Он слушал меня, дергал как-то неестественно головой и только говорил:

— Да. Да, допрашивайте этих свидетелей... я всех допущу, но не знаю, что будет...

Когда мой натиск немного ослабел, он вдруг встрепенулся и прекратил беседу, сказав мне, что не может, не в праве говорить со мной об этом вне судебного заседания. Кригер грустно вздохнул и, понизив голос, прибавил, что все зависит от членов суда: как они взглянут на дело.

На суд привели Рогожина, осунувшегося, с желтовато-зеленым лицом. Он имел ужасный вид в сером, темном халате, среди двух солдат с ружьями, в нарядном зале военного собрания.

В толпе свидетелей слышалось тихое перешептывание. Лица их были строги и торжественны.

Генерал был взволнован, в парадном мундире с орденами.

Судьи-полковники, из строевых частей, накануне играли в этом же зале в преферанс, часов до четырех утра. и теперь выглядели тоскующими и чем-то недовольными. Помощник военного прокурора, поддерживавший обвинение против Рогожкина, тоже играл вместе с ними и тоже был бледен.

Один секретарь, аккуратный, чистенький блондин,— обрусевший немец лет тридцати,— был в ровном, хорошем расположении, так как знал, что канцелярская сторона дела была в порядке, и поэтому не боялся генерала, всегда вежливо относившегося к нему, и так как, по привычке, нисколько не интересовался судьбою подсудимого.

Часов в одиннадцать началось заседание.

Когда секретарь читал обвинительный акт, отчетливо и быстро, с сознанием своего секретарского мастерства, то лицо Рогожина покрылось крупными каплями пота, и на нем зазвенели кандалы.

На вопрос председателя, признает ли Рогожин себя виновным, он ответил: «Нет», едва слышно и, казалось, неуверенно. Точно шелест прозвучал его голос.

Вышел первый свидетель, старик-кучер Богоявленского, бледный, злобный, с широкой, представительной седой бородой, но испуганный. Он стукнул каблуками, вытянулся перед председателем во фронт и нелепо закричал, закрыв глаза и подняв руку с двумя пальцами кверху:

— Он стрелял; как перед богом говорю,— он.

Обернувшись, я увидел, что по лицу Рогожина льются слезы на серый халат. Затем он как-то сразу успокоился.

В зале стояла тишина, а старик-свидетель тряс поднятой кверху бородой и шептал с закрытыми глазами:

— Он. Истинный бог, — он. Мы ехали на гулянье,— рассказывал свидетель. — Вдруг он проходит перед самой головой лошади... Подошел, и в бок—цок. Лошадь понесла, я—тпру, тпру... Остановил. Смотрю назад, а он стоит с вытянутой рукой, а в ней левольверт, и стреляет. А барин уже свалился... и прямо головой мне в спину... а изо рта у него пена и кровь...

Вообще подробности убийства старик рассказывал на суде раза три, каждый раз в новой вариации, и каждый раз совершенно нелепо, но все три раза кончал рассказ заявлением:

— Он стрелял,—и при этом моментально закрывал глаза и поднимал два пальца к небу.

К делу в качестве вещественных доказательств были приложены: черная новенькая тужурка и спортсменская фуражка, брошенные убийцей во дворе дома, куда он скрылся и где он переоделся в новый костюм.

Об этой одежде свидетельница, бывшая подруга Рогожина, простая женщина, говорила на суде, что она знает одежду Рогожина и уверяет суд, что он носил эту тужурку и шапку еще в то время, когда жил с нею в деревне Черной, Тобольского уезда, за год до убийства.

По счастью, тужурка хотя влезала на широкие плечи Рогожина, но вершка на два не сходилась на груди, а фуражка не держалась на его большой голове. Общий вид Рогожина в этом костюме был совсем нелепым.

Очевидцы — горничная и гимназистка — волнуясь, путаясь, трепеща, показали так, что, в общем, получилось впечатление, что им кажется, что стрелял Рогожин.

Весь остальной материал говорил в его пользу.

Было допрошено около восьмидесяти человек. Свидетели показывали, что убийца был маленького роста, почти мальчуган, что он часа два дожидался своей жертвы на тротуаре, что старик-кучер Богоявленского, при задержании, говорил: «Может быть, он, но как будто не похож», лишь впоследствии стал клясться и уверять себя и всех, что Рогожин стрелял.

К концу второго дня процесса все показания смешались в какой-то хаос, в котором нельзя было разобрать: какие свидетели говорят правду, какие лгут, какие фантазируют, какие загипнотизировали себя на каких-то случайных или навязанных со стороны представлениях.

И судом, и всеми в зале овладела мучительная тоска и сознание неизбежности чего-то самого жестокого. Председатель

устал, сам редко допрашивал свидетелей, и настроение его заметно омрачилось.

Рогожин сидел между часовыми, почти безучастный ко всему, что перед ним происходило, почти не понимая ничего, как он говорил мне, в показаниях свидетелей, страшась их и лишь смутно надеясь на жизнь в самых тайниках души.

Полковники-судьи заметно скучали и томились, потому что у каждого из них уж было свое готовое мнение о деле.

Так длилось дело три дня.

По вечерам, по закрытии заседаний, в том же зале, за единственным ломберным столом, за которым днем сидел прокурор, судьи попрежнему играли в преферанс. С ними играл и прокурор.

Внешняя сторона судебной процедуры была так хорошо. вежливо и даже по-военному элегантно поставлена, что за нею совсем исчезал весь ужас ее содержания, и уходила куда-то далеко самая мысль о том, что весь смысл этой процедуры сводился только к тому, будет задушен или останется жить человек, сидящий здесь, среди двух солдат с ружьями, и называющийся Иваном Федоровичем Рогожиным.

Повидимому, в процессе со смертной казнью это тщательное соблюдение судебных приличий — одно из необходимых условий деревянной жестокости приговоров.

Заключительный момент следствия был очень тяжел для Рогожина: прокурор вдруг вызвал старика-кучера Бородулина, и тот, встряхнувшись от дремоты, вышел на средину зала и снова поклялся, что стрелял в его барина «он», т. е. Рогожин.

Все оживились, когда начал говорить прокурор. Ровным, не громким, но твердым голосом он перечислял все улики против Рогожина. Всему, что говорило в пользу Рогожина, прокурор просто не верил... Речь его длилась целый час, и кончил ее он, спокойно сказав:

— Господа военные судьи. Я прошу вас применить к Рогожину 279-ю статью Свода военных постановлений, которая, как известно, карает смертной казнью через повешение. Вместе с тем, я обязан указать вам, что по закону, применив это наказание, вы представите свой приговор на утверждение господину местному генерал-губернатору, камергеру высочайшего двора Николаю Львовичу Гондатти, который имеет право или утвердить его к исполнению, или заменить смертную казнь другим. более мягким наказанием.

Рогожин слушал его внимательно, но тупо.

При словах прокурора: «смертной казнью чрез повешение».

он вздрогнул, и лицо его вновь покрылось той могильной тенью, которая была на нем в тюремной камере.

Слова «смертная казнь» были произнесены в зале впервые и произвели потрясающее впечатление на публику.

Произошло движение, послышались женские рыдания. Едва прокурор кончил, как одна из свидетельниц вдруг закричала истерическим голосом:

— Это ужасно... Что он говорит?.. Это возмутительно!..

Она закрыла лицо платком и тихо заплакала.

На следствии эта свидетельница отнеслась к своему показанию весьма легко. Она вышла на середину зала, очень нарядная, и хотя конфузилась от непривычного положения, но играла глазами и всеми своими движениями пред военными, сидевшими за судейским столом в орденах и шитых мундирах с эполетами. Когда ее спрашивали, она так ломалась, что никак нельзя было понять, что она видела и чего не видала.

Рыдания и крики, раздавшиеся после речи прокурора, сразу разрушили всю покрывавшую зал кору приличия...

Все снова заволновались судьбою Рогожина. Председатель. тоже взволнованный, строго приказал публике успокоиться. пригрозив удалением в случае повторения, и объявил перерыв.

Наступила очередь моего слова. Во время своей речи я ничего не видел, кроме глаз и лиц судей.

Помню, бросив все судебные условности, я изобразил перед судом весь ужас смертной казни, как сам его чувствовал, и всю свою веру в невиновность Рогожина. Подошел к самому столу судей, и, кажется, и к их совести, не спускал с них глаз, разбирал улики, говорил о тупом, психопатическом заблуждении старика-кучера, что он своим языком тянет на виселицу невиновного Рогожина, не ведая, как несмышленый младенец, всего ужаса того, что творит. Я страстно убеждал судей поверить в невиновность Рогожина, как верил в нее сам. Я верил в оправдание, но каждому моему слову где-то, в глубине души, сопутствовало испытанное мною кошмарное представление казни, я страшился его, и снова говорил о невиновности Рогожина. снова убеждал и молил судей об оправдании, и верил, что оправдают. Я подводил к судьям Рогожина и одевал его в узкий для него костюм убийцы.

Все время моей речи в зале стояла та напряженная, жуткая тишина, которую чувствуешь и слышишь.

Наконец суд удалился для постановки приговора. Я взглянул на Рогожина и неожиданно увидел совсем ясное, спокойное лицо.

И мне вдруг так стало страшно за него, как не было страшно ни разу за все время процесса... Смотря в его милое, дорогое мне тогда лицо, я видел своим воображением, как его казнят. Я метался по залу, не находя себе ни надежды, ни успокоения... На всех, кто пытался говорить со мною, я махал руками.

Рогожину принесли из офицерского буфета чаю с бутербродами, и он с аппетитом ел их, спокойно и радостно смотря в окно на красивый зимний день.

Прокурор, после истерических криков свидетельницы, опасался подходить к своим знакомым в публике и ходил по залу тоже один, обиженный, как ему казалось, несправедливо этими криками, и досадуя на генерала за допущение в зал публики.

Когда мы встретились, он сказал мне:

— А знаете, если бы я был судьей, я бы не решился подписать Рогожину смертный приговор, хотя, несомненно, Рогожин знал об убийстве.

И прокурор поспешил успокоить меня:

— Не бойтесь. Не бойтесь. Гондатти все равно заменит Рогожину казнь годами двадцатью каторги.

— Как же вы поддерживали обвинение?— слабо возразил я.

— Суд не может его оправдать, а я не мог отказываться от обвинения, когда есть свидетели, очевидцы,— возразил мне уверенно прокурор.

Я понял, что прокурор не сомневается в обвинительном приговоре.

Мы разошлись.

Взглянув на Рогожина, я снова увидел, что он спокойно пьет чай.

Тогда я поспешил скрыться от него в дальнем углу зала, за занавесом, отделявшим сцену.

Когда Рогожин, спокойный за свою участь, сидел в зале суда, между конвойными солдатами, и пил чай, в это время в комнате, куда удалился суд для совещания, как я потом узнал, происходило следующее.

Генерал Критер бегал из угла в угол и от волнения не решался спрашивать у судей их мнения. По спокойному и радостному виду одного из судей он знал наверное, что тот стоит за оправдание Рогожина. Но двое судей, казачьи полковники, здоровые и крепкие люди, еще во время судебного следствия не скрывали от него, что, по их убеждению, Рогожина необходимо «вздернуть», как они говорили, чтобы «другим не повадно было; все равно: он или не он убил Богоявленского, потому

что если даже он и не стрелял и не убивал сам, то, как «политик», конечно, знал и участвовал в сговоре на это убийство».

Оставался еще один член суда, пехотный полковник, маленький, желтый, желчный человек с тонкими усами, озлобленный и всегда недовольный, считавший себя обойденным по службе, так как он давно, по его расчету, должен был быть полковым командиром, и все его сверстники, даже не имевшие. как он, боевых заслуг, командовали полками, а он сидел батальонным командиром.

Робко вглядываясь в его возбужденные глаза, генерал никак не мог понять его взгляда на дело и боялся и не решался отбирать голоса.

Как последнее средство, он предложил всем молча посидеть и подумать о деле в одиночку, оставшись наедине с своей совестью. И снова заходил он из угла в угол.

Подавленный собственною нерешительностью и жестоким спокойствием двух полковников, генерал вдруг решил, что нет другого исхода, как предложить им, согласно их взгляду, признать Рогожина не необходимым участником убийства, и таким образом выторговать ему жизнь, осудив на двадцать лет каторги вместо виселицы.

И чем больше генерал колебался, тем этот исход казался ему все более и более неизбежным.

Он подошел вплотную к раздражительному полковнику-судье и шепнул ему робко свою мысль.

— Да что вы, генерал... тут надо судить тех мерзавцев, которые упустили убийцу, а не Рогожина...—И желчный полковник начал ругать полицию, все губернское начальство, и в особенности следователя и прокурора, которые вели следствие.

Генерал обрадовался и, вместе с тем, ужаснулся того, что сам хотел сделать — отправить невинного Рогожина на каторгу.

Таким образом составилось три голоса за оправдание, и два — за повешение.

Пока суд совещался, прошло два часа, долгих... долгих... Наконец выскочил на середину зала дежурный офицер и зелеными от волнения голосом крикнул:

— Готовься!

Все засуетились и потом застыли. Замечтавшийся Рогожин вздрогнул и опять потемнел в лице.

Вышли судьи с притворно-серьезными лицами, и генерал, сияющий и счастливо-взволнованный, прочел бумагу, где, после

длинного перечня статей и описания обвинения Рогожина, в конце значилось, что он по суду оправдан.

Стоны, рыдания и крики радости наполнили зал. Это были истинно-человеческие стоны душ, освободившихся от кошмара казни. Они и теперь хранятся в глубине моей памяти и легко возникают в ушах, при воспоминании, соединенные с зрительным образом волшебно-сияющего света в окнах зала.

Успокоив публику, генерал позвал:

— Рогожин!

Тот порывисто двинулся. Конвойные бросились за ним.

— Останьтесь на месте!— мягко, но повелительно приказал им председатель.

Те моментально вытянулись, звякнули ружьями к ноге и застыли, а Рогожин прошел между ними, словно среди каменных статуй.

— Рогожин! Вы свободны!— объявил председатель.

В следующее мгновенье я уже обнимал Рогожина, смотря в его влажные от счастья глаза. Затем нас стиснула толпа. И его, и меня обнимали, целовали, а моментами так давили, что мы задыхались.

Наконец нам как-то удалось, держась под руку и ничего не видя вокруг себя, выйти из суда. Как вдруг на нас налетел полицмейстер с комадой городовых, с испуганными лицами. окружил нас и объявил, что распоряжением генерал-губернатора Рогожин высылается в г. Туринск, Тобольской губернии, и что он его арестует.

Рогожин вдруг выпрямился, удивленно, но радостно посмотрел на полицмейстера и, сияя прямо детской улыбкой, воскликнул:

— Хоть на край света, г. полицмейстер!

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ЖЕЛТОНОВСКОГО

В 1905 году по всей земледельческой России широко разлилось аграрное движение. Оно было особенно сильно в тех районах, где сосредоточились крупные и богатые помещичьи экономии. Екатеринославская губерния как раз принадлежала к таким районам.

22 декабря 1905 года, т. е. немедленно после подавления восстания в Донецком бассейне, екатеринославский губернатор Нейдгардт писал: «В Верхне-Днепровском уезде погромы затихают. Там двенадцать дней вице-губернатор с войсками. Войска неоднократно действовали оружием, были жертвы, грабители задерживались, награбленное отбиралось. Местная полиция усилена из других уездов».

Для подавления аграрного движения генерал-губернатором в Екатеринослав был назначен генерал Сандецкий. Тотчас же за его назначением боевая организация (социалистов-революционеров) в Екатеринославе начала подготовлять покушение [1]. Когда генерала Сандецкого перевели из Екатеринослава в Казань, а его место занял генерал-майор Желтоновский, широко прославившийся незадолго перед этим жестокой расправой с крестьянами Елисаветградского и Александрийского уездов Херсонской губернии, — боевая организация, как только он появился в Екатеринославе, занялась Желтоновским, а 23 апреля 1906 г. он был убит.

Случилось это при таких обстоятельствах.

В восьмом часу вечера Желтоновский ехал на вокзал, чтобы сесть в севастопольский поезд, направляясь в Александровский уезд, Екатеринославской губернии, для руководства расправами с крестьянами за происходившие там аграрные погромы. Когда экипаж Желтоновского повернул с Проспекта к вокзалу,

---

[1] В делах губернского жандармского отделения имется переписка о том, что «боевики следят за Сандецким»; см. статью Г. Новополина в журнале «Каторга и Ссылка», № 2 за 1927 год.

то у здания железнодорожной больницы его буквально расстреляли революционеры целым залпом из револьверов. Лошади понесли, примчались к вокзалу и остановились. На крики извозчика выбежали комендант станции и ее начальник. Желтоновский потерял уже сознание, но был еще жив. Его немедленно перенесли в железнодорожную больницу, где он и умер через несколько минут.

Сейчас же на место убийства прибыли жандармский полковник, следователь по важнейшим делам, прокурор и губернатор и оцепили войсками весь прилегающий район. Хотя все свидетели - очевидцы при первых же выстрелах разбежались, но нашлись такие, которые показывали, что на экипаж Желтоновского напало сразу несколько человек, пять или шесть. Ничего больше никто из них показать не мог. Извозчик, который вез Желтоновского на вокзал, так испугался и растерялся, что спрятался от выстрелов на подножку под козлами своего экипажа.

Самые интересные и наиболее точные данные давал осмотр трупа убитого генерал-губернатора.

Безусловно смертельных ран было: две—в голову, и третья, тяжелая, сквозная — в нижнюю часть груди. Всех ран было до десяти, но остальные были не смертельные,— в правую руку, в правую ногу и т. д. Одно из безусловно смертельных ранений было произведено выстрелом из револьвера в затылочную кость. Пробив ее, пуля прошла через мозг насквозь и вылетела выше уха. Все ранения были сквозные, и по входным и выходным отверстиям их можно было безошибочно утверждать, что выстрелов было сделано не менее десяти и что они были произведены с разных сторон.

Это же заключение подтверждал и осмотр платья убитого и извозчичьего фаэтона, в которых были найдены отверстия от пуль.

Все эти обстоятельства убийства немедленно по его совершении стали известны всем властям и были опубликованы в местных газетах — в «Южной Заре» и «Приднепровском Курьере», на основании официальных данных. Таким образом, все в Екатеринославе знали, что убийство Желтоновского совершено какой-то организацией и что участников его было несколько человек. А жандармская и наружная полиция, и вслед за нею и следователь, и прокурор, и губернатор должны были не только догадываться, но и знали, что этот акт совершен боевой организацией партии с.-р. Но самая боевая организация была для них неуловима.

Между тем дело было такое, что признаться и расписаться в том, что они не могут поймать убийц, было рискованно для их служебного положения. Тогда начали ловить кого попало и предъявлять свидетелям-очевидцам для опознания. Это, как известно, самый простой и легкий способ добычи улик, с которым в то же время очень трудно бороться обвиняемым.

Таким образом был задержан в тот же вечер какой-то, никому не известный, крестьянин Яков Воробьев, про которого задержавшие его чины полиции говорили, что он мог быть убийцей.

Был задержан также некий гражданин Рихтер. Положение его сразу отягчилось тем, что какой-то свидетель-«очевидец» признал в нем молодого человека, будто бы вскочившего при нем на подножку экипажа, в котором ехал Желтоновский, и выстрелившего в него два раза из револьвера.

В местности, оцепленной войсками, прилегающей к вокзалу, полиция начала проверять жильцов во всех гостиницах. В одном из номеров гостиницы «Ялта», окна которого выходили к вокзалу, полицейский пристав застал подростка лет пятнадцати, который, не заперев дверей, сидел за письменным столом и что-то писал так усердно, что не заметил, как за его спиной оказался пристав. Неожиданно, увидев его, юноша спрятал письмо за спину. Юношу, конечно, схватили, а письмо отобрали. В этом оборванном на полуслове письме было написано следующее:

«Мамаша. Вы мучаете своими идиотскими расспросами и допросами бедную, ни в чем не повинную девушку Любу. Вы выматываете из нее душу путем подкупа каких-то шпионов и дураков и выслеживания за нею на каждом шагу. Знайте, что ваши провокаторские поступки вам не помогут и в добро вам не пойдут. Ваша мелкая и грязная душонка неспособна на более благие дела. Имейте в виду, что я теперь состою членом боевой организации революционеров-террористов и должен, по поручению комитета, в числе других отправиться с целью террористических актов в другие города России. Но я не пожалею остаться здесь и с удовольствием пустить такой птице, как вы, пулю в лоб. Я донесу о вас на собрании комитета, и вполне уверен, что мои товарищи не пожалеют пуль для вашего убийства, точно так же, как и для убийства Желтоновского. Предупреждаю вас, что если вы впредь будете приходить к Г. и устраивать Любе такие бенефисы и скандалы, какие...»

— Так это вы убили Желтоновского?— спросил пристав.

— Да, я,— отвечал тот.— Убейте меня.

Его побили и обыскали и нашли в кармане метрическое свидетельство и другие документы на имя Льва Раппопорта, ученика местного коммерческого училища (Раппопорт был тогда, кажется, в третьем классе). Несмотря на эти документы, на первый вопрос,— кто он,— задержанный назвал себя Константиновским, так как при найме номера представил хозяину паспорт своего товарища и близкого приятеля Константиновского.

Пристав доставил арестованного во вторую полицейскую часть. Там его пробовали снова допрашивать, но он признал только, что он Раппопорт, а не Константиновский, и от всяких показаний отказался.

Воробьева и Рихтера освободили, а об Раппопорте началось дело в виду его собственного признания перед приставом в убийстве Желтоновского. На следующий день после ареста его допросил судебный следователь, и Раппопорт показал, что он стрелял в генерала Желтоновского вместе со своими товарищами «революционерами-террористами», при чем рассказал — во время этого первого допроса и нескольких последующих — совершенно фантастическую и довольно бессвязную историю, состряпанную им из обрывков того, что он слыхал, знал или читал о революционерах и прочел в газетах об убийстве Желтоновского.

В своих показаниях следователю Раппопорт утверждал, что еще примерно года два назад он будто бы вступил в местную социал-демократическую партию. При этом ни о каких подробностях его работы в этой партии его не спрашивали, и он не рассказывал (повидимому, этому не хотели верить). Затем Раппопорт показывал, что после жестоких расправ с революционерами, бывших в Москве в январе 1906 года, в Харькове образовался комитет «революционеров-террористов». Раппопорт так и называл его «комитетом революционеров-террористов». Вслед за тем в Екатеринославе создалась группа этого комитета, в которую вошел и он, Раппопорт.

19 апреля, т. е. за четыре дня до убийства, он приехал будто бы в Харьков, где имел свидание с тремя революционерами-террористами, под прозвищами «Иннокентий», «Палеолог» и «Сашка Чалый». От них он узнал, что был брошен жребий, по которому на него и на всех их троих выпал жребий убить Желтоновского. Раппопорт возвратился из Харькова в Екатеринослав и должен был ждать их приезда. Не показываясь дома, он ночевал в гостинице «Ялта» по паспорту своего товарища Константиновского, которого в свои планы он не посвящал.

23 апреля, в день убийства Желтоновского, Раппопорт при-

ехал будто бы в Екатеринослав со станции Синельниково и получил записку, в которой было написано, чтобы он между шестью и семью часами был возле железнодорожной больницы. Придя сюда, он встретился с Иннокентием, Палеологом и Сашкой Чалым. Иннокентий передал ему револьвер и распределил всех по-двое по обеим сторонам проезда к вокзалу. Здесь они дождались Желтоновского, стреляли и убили его. Никаких подробностей о том, кто такие Иннокентий, Палеолог и Сашка Чалый, в показаниях Раппопорта не было. О комитете революционеров-террористов тоже ничего не сообщалось, кроме названия, совсем несвойственного, как известно, боевым организациям с.-р.

Никаких подробностей убийства и как, кто и куда бежал — тоже не было.

О Любе, которая упоминалась в отобранном у него письме, Раппопорт сказал, что это ученица шестого класса городской гимназии, что хотя он в нее влюблен, но свою революционную работу от нее скрывал.

В тот же день, когда следователь впервые допрашивал Раппопорта, появилась прокламация Екатеринославского комитета с.-р., в которой разъяснялись причины убийства Желтоновского, и этот террористический акт признавался делом их боевой организации.

В связи с этой прокламацией, а также вследствие явной вздорности самых признаний Раппопорта и характера его личности, прокурор Екатеринославского окружного суда и следователь пришли к убеждению, что участие его в этом деле надо считать сомнительным, и в екатеринославской газете «Приднепровский Курьер» появилась информационная заметка со слов прокурора, в которой значилось, что «все данные наводят прокурорский надзор и следственную власть на мысль, что виновность Раппопорта является сомнительной, и трудно предположить, чтобы убийцей генерала Желтоновского действительно являлся Раппопорт».

Эти строки были напечатаны в № 64 «Приднепровского Курьера», от 26 апреля 1906 года, т. е. накануне созыва 1-й Государственной Думы. То было время, как известно, совершенно особое, когда все репрессии были ослаблены, и, конечно, Раппопорт был бы так же освобожден из тюрьмы судебными властями, как и не повинные ни в чем граждане Воробьев и Рихтер.

Но, на его беду, губернатором в Екатеринославе был тогда очень крутой петербургский чиновник Александровский, быв-

ший главноуполномоченный Красного Креста, которого газеты разоблачили в растрате пожертвований, собиравшихся на раненых воинов в русско-японскую войну. Он находился в то время под следствием и, так сказать, в опале,— на губернаторском месте в Екатеринославе, где он должен был восстанавливать отличной службой свое испорченное служебное положение. А тут вместо отличий опять происходил конфуз: по такому делу, как убийство боевиками с.-р. генерал-губернатора, убийцы оказывались неразысканными, а их организация неуловимой.

Кроме того, Раппопорт был еврей, и его арестом по обвинению в убийстве Желтоновского воспользовался местный «союз русского народа», при явном попустительстве и при тайном покровительстве того же Александровского, для погромной агитации. Самые похороны были превращены в антиеврейскую демонстрацию. Особая депутация от еврейской общины являлась тогда к губернатору с ходатайством о принятии мер к предупреждению готовившегося погрома.

При таких обстоятельствах Александровский не мог допустить, чтобы Раппопорта судебные власти выпустили из тюрьмы, а дело о нем прекратили. И вот, нажимом со стороны губернатора, следователя, у которого было дело, устранили и передали дело новому следователю по важнейшим делам. Новый следователь допрашивал снова Раппопорта, который к этому времени успел уже оправиться от своего нервного потрясения и дал свои показания вполне сознательно, а следователь обстоятельно записал их.

Новому следователю Раппопорт показал, что он в действительности решительно ничего не знает по делу об убийстве Желтоновского, кроме того, что прочел о нем на другой день после ареста, сидя в полицейской части, в газете «Приднепровский Курьер» от 24 апреля. Возвел же он на себя обвинение в этом убийстве потому, что находился в состоянии отчаяния, хотел умереть и предполагал, что его повидимому через день — два казнят.

О своем душевном состоянии и о своем положении Раппопорт показал, что в его роман с гимназисткой Любой Гиршой грубо вмешались его мать и родители девушки. Особенно мать жестоко оскорбляла и преследовала ее, вследствие чего еще в начале апреля у него возник план уйти от родителей, уехать из Екатеринослава, с тем, чтобы начать жить вполне самостоятельно. Этот план он сообщил Любе, ее подруге Дине Каценельсон и их общему приятелю Константиновскому. Это была дружеская компания, в которой он проводил все свое время.

16 апреля Раппопорт решил бежать из родительского дома и необходимые вещи, белье и одежду снес Дине и Константиновскому, а на другой день, когда его отчим передал ему 80 рублей для взноса квартирной платы домовладельцу, он оставил эти деньги у себя и с ними скрылся. Первую ночь он ночевал у Константиновского, но, когда его родители начали розыски, он следующие две ночи ночевал у тетки знакомой Дины, некоей Островской. Но так как, узнав о положении, последняя отказала ему в дальнейших ночлегах, то Константиновский дал ему свой паспорт, и по этому паспорту Раппопорт и прописался в одном из номеров гостиницы «Ялта», около вокзала, и ночевал в нем до самого ареста.

Все дни с 17 по 23 апреля вся компания проводила в поездках на Амур, чтобы не попадаться на глаза знакомым и укрыться от родителей Раппопорта. Здесь, на Амуре, они добыли для Раппопорта новый паспорт у знакомого Константиновского, некоего Шило, и с этим паспортом Раппопорт предполагал уехать совсем из Екатеринослава.

23 апреля, т. е. в тот день, когда был убит генерал Желтоновский, вся компания тоже отправилась с утра на Амур и в Нижнеднепровск (смежный с Амуром). Но Люба не приехала, так как, вследствие скандала, поднятого матерью Раппопорта, ее родители перестали выпускать ее из дому. Из Нижнеднепровска компания вернулась в Екатеринослав с дачным поездом в 7 часов 15 минут вечера, с тем, чтобы захватить Любу и итти всем вместе в театр. Дина и Константиновский отправились за Любой, а Раппопорт должен был дожидаться их у городского сада (т. е., примерно, в полутора километрах от места убийства) и, действительно, около 9 часов вечера встретился здесь с ними.

Но Люба не пришла, а Дина, ходившая за нею, передала, что мать Раппопорта явилась к Гириным, скандалила, самыми неприличными словами ругала Любу. и родители Любы решили больше никуда не отпускать ее, чтобы прекратить всякие встречи ее с Раппопортом. Он был страшно подавлен этим сообщением, не знал, что делать, отказался итти в театр и в совершенно отчаянном настроении возвратился в свою гостиницу.

Когда они гуляли около городского сада, разнеслась весть об убийстве генерала Желтоновского. Раппопорту сообщили об этом его приятели Дина и Константиновский.

Оставшись один, он начал думать о самоубийстве и с этой мыслью пришел в свой номер гостиницы «Ялта». Но потом его

стало одолевать раздражение к матери за оскорбление ею Любы, и он начал писать ей то письмо с угрозами местью, которое оборвалось и осталось недописанным при появлении пристава. Когда, вырвав у него письмо, пристав спросил его:

— Так, значит, вы убили Желтоновского?— у него мгновенно явилась мысль, что его сейчас же казнят или убьют, и он ответил:

— Да, это я. Убейте меня!

На основании этих новых показаний следователь задержал и немедленно допросил Константиновского, Любу Гирину и Дину Каценельсон. Их показаниями все рассказанное Раппопортом совершенно точно было подтверждено. Характер всей компании учащихся подростков или самых зеленых юношей, не имевших ничего общего с революционерами, тоже был совершенно выяснен.

На основании добытых данных новый следователь пришел к заключению, что в данном случае имеется налицо самообвинение, случаи какового нередко бывают в судебной практике, особенно при меланхолических состояниях обвиняемых. Последующие же показания Раппопорта, в которых он отказался от самообвинения, вполне подтвержденные рядом свидетельских показаний, заслуживают полного к себе доверия. Следователь постановил подвергнуть Раппопорта судебно-медицинскому освидетельствованию, и 27 июня, при экспертизе, произведенной психиатром Глаголевым, старшим врачом губернской земской больницы, последний дал заключение, что в момент ареста и в ближайшие затем дни, когда Раппопорта допрашивали, он мог находиться в болезненном душевном состоянии, под влиянием чего и принял на себя вину в убийстве генерала Желтоновского.

Для выяснения причин такого состояния Глаголев потребовал исследования Раппопорта в специальном психиатрическом заведении. Прокурор присоединился к мнению следователя и эксперта. Затем в распорядительном заседании окружного суда было постановлено произвести испытание умственных способностей Раппопорта.

Таким образом, дело его затянулось.

Тем временем губернатор Александровский, энергично воспротивившийся его освобождению, был переведен губернатором в Пензу и там убит боевой дружиной на улице в январе 1907 г. Это было как будто благоприятно, но к этому моменту была уже распущена 1-я Государственная Дума, и тотчас, по воле Столыпина, по всей России для ликвидации революции заработали военно-полевые суды. Дело Раппопорта могло попасть

даже в один из таких судов, в котором он, вероятно, был бы казнен, невзирая на свой 16-летний возраст и полную невиновность. Такие случаи тогда бывали.

Перед созывом 2-й Думы военно-полевые суды были упразднены, и вместо них заработали военно-окружные суды, которые представляли уже более четко работавшие машины реакции. Новый временный генерал-губернатор, опасаясь побега Раппопорта из земской больницы, потребовал оставления его в тюрьме. Так прошел почти весь 1907 год.

Наконец, после долгой переписки между следователями и прокурорами, согласно заключению специалистов-психиатров, что Раппопорт «без разумения, при полном отсутствии влияния высших задерживающих центров, взял на себя обвинение в убийстве генерал-губернатора Желтоновского», прокурор Екатеринославского окружного суда, согласовав свое заключение с прокурором Харьковской судебной палаты, направил дело Раппопорта, согласно ст. 524-й Уст. Уг. Судопроизводства, к прекращению.

И опять наступил момент, когда Раппопорт, уже насидевшись в тюрьме и на психиатрическом испытании в больнице. мог быть освобожден по постановлению гражданских судебных властей. Но губернатор и жандармские власти не уставая боролись с ними. Однако, следователи, прокуроры и судьи Екатеринославского окружного суда, участвовавшие в этом деле, как люди, привыкшие к судебной деятельности в рамках судебных законов, не хотели пойти на прямое нарушение их, т. е. на заведомую судебную неправду.

Тогда, пользуясь военным положением, временный генерал-губернатор созвал предусмотренное этим положением особое совещание, в составе генерал-губернатора, жандармского полковника и прокурора окружного суда, и поставил на нем вопрос об изъятии этого дела из гражданской подсудности и о направлении в военный суд. Но и на этом совещании прокурор окружного суда снова высказался за полное прекращение дела.

Эту настойчивость и упорство прокурора необходимо особо отметить, так как оно лучше всего доказывает, что никто из екатеринославских следователей и прокуроров не допускал никаких сомнений в невиновности Раппопорта. Можно утверждать, что и сами жандармы и генерал-губернатор не верили в его виновность. Иначе со всеми этими крамольниками судебными чиновниками они, конечно, расправились бы посредством доносов на них высшему начальству. Но с ними только не соглашались, а их не трогали и прямых доносов на них не писали.

Большинством двух голосов, генерал-губернатора и жандармского полковника, против голоса прокурора, дело было направлено в военный суд. Там была произведена новая экспертиза, при которой какой-то никому не известный эксперт, на основании наблюдений над Раппопортом в течение всего двух—трех часов, дал заключение, что Раппопорт совершил свое преступное деяние с разумением.

Все это опять потребовало значительного времени, и к тому моменту, когда прокурор Одесского военно-окружного суда составил о Раппопорте обвинительный акт, наступил уже конец 1908 года. К этому времени об убитом Желтоновском совсем забыли, впечатление от этого террористического акта давно заглохло. Но зато за этот срок для военных судов того времени вообще уже был совершен отбор наиболее бездушных людей среди генералов, судей военно-окружных судов, и среди полковников из строевых частей, которых начальство прикомандировывало к этим судам в качестве временных членов. В Екатеринославе в конце 1908 года действовали уже сразу три таких сессии военного суда, которые методично щелкали человеческие жизни, как орехи.

Получив обвинительный акт, мать Раппопорта обратилась ко мне. Я был новый человек в Екатеринославе и ничего не знал об этом деле. Но из самого обвинительного акта непричастность этого юноши к делу выпирала наружу. Я получил пропуск в тюрьму и после свидания с Раппопортом убедился не только в его невиновности, но и в том, что даже в тюрьме, где он сидел почти три года, вся администрация прекрасно знала, что Раппопорт совсем не причастен к делу об убийстве Желтоновского. Я пошел потом к следователю А. С. Карпову [1], моему земляку по Воронежской гимназии, у которого дело было последний раз на доследовании, и узнал от него, что и он еще раз написал заключение о прекращении дела.

— Этот Раппопорт мне показался на редкость несимпатичным,— говорил мне А. С. Карпов,— но он страдает совершенно зря, и у нас в суде нет людей, которые думали бы иначе. Но не знаю, как вам удастся борьба за его освобождение.

Я и сам знал, что борьба будет не только трудна, но и почти безнадежна, и однако сказал матери Раппопорта, что приму защиту его на себя, предупредив ее, что считаю обстановку суда сквернее скверного.

---

[1] А. С. Карпов был потом членом 2-го гражданского отделения Екатеринославского окружного суда. В 1919 году был замучен махновцами.

Мое убеждение в невиновности Раппопорта окончательно сложилось, и я решил бороться за его освобождение изо всех сил. Я подал заявление в суд о вызове целого ряда свидетелей и о вызове новых экспертов, и в распорядительном заседании председатель военного суда полковник Курочкин удовлетворил все мои ходатайства. Затем, когда стал известен день суда, я посоветовал матери Раппопорта пригласить еще одного защитника; мой выбор пал на В. К. Калачевского из Киева, талантливого адвоката, который кончил Военно-Юридическую академию, но бросил свою военно-судебную карьеру, как только военные суды занялись разгромом первой революции, и перешел в адвокатуру.

Калачевский умел разговаривать с военными судьями, знал их среду и в защите Раппопорта был необходим, как никто другой. Дня за два до суда он приехал в Екатеринослав, и когда близко познакомился с делом, то проникся уверенностью, что Раппопорт будет оправдан.

— Всякое бывает, и всякое может быть,— говорил он.— Но мы доведем дело до очевидности, что этот мальчишка не виновен. За Курочкина не ручаюсь, но думаю, что наши полковники оправдают.

Я ответил на это, примерно, таким рассуждением:

— А я думаю, что оправдали бы, если бы Раппопорту грозила смертная казнь. Но ведь тут двенадцать лет тюрьмы, а они уже привыкли считать, что оправдывают людей, когда вместо виселицы осуждают на каторгу. Эти самые полковники видели не раз радостные лица подсудимых при приговорах на двадцать лет каторги вместо казни. Они знают это впечатление восторга вновь обретенной жизни, и двенадцать лет тюрьмы для Раппопорта не могут волновать их совесть. Очень уж привыкли они к своей «висельной» работе с Курочкиным. Их ничем не прошибешь, ничем не взволнуешь, а в ряду тех дел, которые они будут разбирать перед делом Раппопорта и после него, наказание на двенадцать лет тюрьмы им будет казаться совсем мягким. Все эти подполковники уже два года под ряд командируются из своих частей в военные суды, привыкли в своей работе перемешивать свою совесть со своими политическими взглядами и — еще хуже — с карьерными расчетами, и теперь часто относятся к делам не особенно серьезно, так как считают, что военные юристы все знают и все сделают и рассудят лучше их, как специалисты в своем деле. Курочкин — редкий специалист по добросовестности в изучении дел и в знании законов. С ним полковники чувствуют себя всегда «спокойно» и твердо.

так как и сам Курочкин не привык к колебаниям. При этом, еще до начала заседания, у него всегда готов взгляд на дело во всех подробностях. У него строевые подполковники сидят по бокам и часто скучают и в перерывах пьют чай с бутербродами. Пробавляются анекдотами, а в совещательной комнате, когда Курочкин пишет целыми часами мотивированные приговоры, они обычно играют в карты. Они — самые обыкновенные подполковники, но уж очень они привыкли пренебрегать своим нравственным чувством, и с ними нам будет трудно. Курочкин, наверное, уже убедил их, что что бы там ни было, а по такому делу, как убийство генерал-губернатора, оправдать нельзя. Конечно, мы будем воевать, и чем хуже будут дела, тем будем решительнее и настойчивее, а там — будь, что будет...

Так я рассуждал тогда.

Но Калачевский не сдавался. Он твердо верил в оправдание, был в очень приподнятом настроении, натянут, как струна, готовился не только к бою, но к победе. И все время был как-то радостно взволнован.

Мы ездили вместе в тюрьму к нашему подзащитному, разрабатывали с ним план защиты, но Раппопорт относился к этому довольно тупо. Его мать, наоборот, страшно волновалась: то верила и надеялась на оправдание, то впадала в отчаяние.

Но вот наступил день суда, который происходил в помещении офицерского собрания, в одной из казарм. Считая свидетелей, полковых офицеров и их дам, несмотря на закрытые двери, публики оказалось достаточно. Это был хороший признак: черную неправду легче творить в казематах или при голых стенах судебных зал, чем на людях, открыто.

Когда вышел суд в мундирах, в орденах и уселся за красным столом в чистом и нарядном зале, ярко освещенном февральским солнцем, то по-началу стало как-то легко. Поверилось даже, что вот, наконец, после трех лет скитания по разным камерам, дело вышло на свет, на суд. Наш подсудимый был не только спокоен, но даже весел. Со своей скамьи он переговаривался со старыми друзьями, с матерью, с родными. Конвойные солдаты, два молодых деревенских парня, не мешали этому и не сердились. Молодой дежурный офицер носился по залу и суетился около свидетелей.

Едва началось заседание, мы заявили новое ходатайство о свидетелях и дополнительных экспертах. Прокурор не возражал, и суд удовлетворил его. Заседание пошло гладко и даже, по-военному, «элегантно». И мать подсудимого, и сам Раппо-

порт, и все непривычные к военному суду люди вздохнули совсем свободно. Но мне было не по себе. Я знал, что все это настроение суда объяснялось только тем, что во все предшествовавшие дни в этом самом зале висел ужас смертных приговоров и эти самые судьи подписывали их; а теперь смертного приговора не могло быть, и потому дело казалось им совсем легким.

Секретарь трескуче прочел обвинительный акт. Раппопорт заявил, что не признает себя виновным, и рассказал, как он проводил время перед арестом. Ни судьи, ни прокурор, ни Курочкин не задали ему ни одного вопроса и, казалось, совершенно поверили его рассказу о романе с Любой, о прогулках на Амур, об аресте и о том, как он оговорил себя. Потом допросили первого свидетеля — пристава.

Он рассказал, что когда, часа через два после убийства Желтоновского, он проверял жильцов в гостинице «Ялта», то в полуотворенную дверь одного номера увидел молодого человека, который сидел за столом и что-то писал. Свидетель подошел сзади, но тот так углубился, что, не замечая, продолжал писать, а пристав стоял и читал его письмо к матери, пока наконец из-под пера молодого человека не вылились следующие слова: «Товарищи не пожалеют пуль для вашего убийства, точно так же, как и для убийства Желтоновского». Тогда свидетель схватил пишущего за руку и спросил:

— Так, значит, вы убили Желтоновского?

Молодой человек стал в позу и ответил:

— Да, я убил.

Пристав арестовал его,— это был Раппопорт, который во всем признался.

Ни прокурор, ни судьи не спрашивали больше ни о чем и этого свидетеля. Они опять сделали вид, что и ему поверили, или что им все ясно, и поэтому не о чем расспрашивать.

— А вы поверили Раппопорту?— спросил я свидетеля.

— Нам нельзя не верить,— мудро и спокойно отвечал многоопытный пристав.— Я должен был задержать его, и задержал. А уж это было дело следователя — разбирать, виноват он или нет. Если судят, значит виноват,— добавил он дипломатично, оглядываясь на Курочкина.

Потом читали показания отсутствовавших на суде «достоверных лжесвидетелей», или очевидцев из шпионов, показывавших, что они видели, как человек, похожий на Раппопорта, или сам Раппопорт, стрелял в генерал-губернатора Желтоновского.

Наконец пошли свидетели защиты — друзья и знакомые Раппопорта: Люба, Дина, Константиновский. Они наивно рассказывали, как они вместе с Раппопортом проводили время 17 апреля, когда Раппопорт бежал из дому, до самого ареста: как Константиновский дал ему свой паспорт, по которому Раппопорт жил в гостинице «Ялта», как они достали ему потом паспорт некоего Шило; обрисовывали всю неудачную любовную историю его и все приготовления к побегу из Екатеринослава.

Все эти показания, как и на предварительном следствии, совершенно точно совпадали с рассказом самого Раппопорта. Опять ни прокурор, ни судьи не задали вопросов и этим свидетелям. Они опять или всему верили, или всему не верили, и делали вид, что все знают, что совсем лишнее допрашивать всех этих ненужных свидетелей. Но нам, защите, председатель не мешал.

Я, между прочим, спросил Константиновского:

— Вот вы дали свой паспорт, по которому жил подсудимый. Почему же вас не обвиняли в соучастии с ним в убийстве Желтоновского?

— Не знаю, — наивно отвечал свидетель. — Меня сначала арестовали, но потом допросил следователь и отпустил.

Председатель Курочкин наставительно заметил мне:

— Почему его не обвиняют, — это дело не его, а судебных властей. Господин защитник, держитесь в пределах того, что может знать свидетель.

Но я спросил Константиновского дальше:

— Вот вы не только дали свой паспорт Раппопорту, но и достали ему для побега паспорт Шило. Этого Шило тоже никто не привлекал к ответственности?

— Нет, никто, — так же наивно отвечал свидетель.

Председатель снова остановил меня.

Затем мы допросили остальных свидетелей, которые, можно сказать, вывернули наизнанку всю жизнь Раппопорта, его отношения с родителями и совершенно установили, что вся его среда, с отчимом, содержавшим бюро переписки, никогда не имела никакого отношения не только к боевикам и прочим революционерам, но по всему складу своих узко-обывательских интересов была необыкновенно далека от политики.

Во время обеденного перерыва, в буфете офицерского собрания, судьи, не стесняясь, при нас шутили насчет романа Раппопорта с Любой и вообще были в самом беззаботном настроении по отношению к делу, а мы чем дальше, тем больше волновались. Калачевский продолжал верить, но радостное

настроение уже и его покинуло. Он был сосредоточен, озабочен и только твердил:

— И все-таки оправдают: ведь мы уже довели до очевидности его невиновность.

После перерыва происходила экспертиза. Она тоже ничего не дала для обвинения. Наоборот, ее выводы еще крепче, еще очевиднее выворачивали наружу всю явную фальшь построений обвинения. Экспертиза утверждала, что в состоянии меланхолии, в особенности при любовных неудачах, люди часто создают против себя обвинения и прибегают ко всяким другим маневрам в целях косвенного самоубийства, и что надо полагать, что именно в таком состоянии и находился Раппопорт, когда возвел на себя обвинение в убийстве генерал-губернатора Желтоновского.

Суд выслушал это без всякого интереса, как выслушал и всех свидетелей.

Наконец, уже вечером, когда принесли лампы, начались речи.

Замечательна была речь прокурора. Она вся была в пользу подсудимого. В ней прокурор, можно сказать, грабил защиту. Он говорил о том, что трудно поверить, чтобы Раппопорт стрелял в Желтоновского, и если бы не его собственный оговор, то у него, прокурора, не было бы никакого основания обвинять Раппопорта. Но вот, в виду наличности самого оговора, особенно упорного в первые дни после ареста, у обвинителя нет возможности отказаться от обвинения. Поэтому он поддерживает его и требует для Раппопорта, как несовершеннолетнего, двенадцати лет тюремного заключения.

Потом говорили мы, и — как казалось нам и нашим слушателям, т. е. всем сидевшим в зале,—установили с совершенной очевидностью и несомненностью, что все следователи и прокуроры, писавшие заключения о прекращении дела, ничуть не ошибались, что Раппопорт совсем не причастен к делу, о котором он узнал только из газет.

Говорили мы оба убежденно, с огромным внутренним волнением и так, что судьи нас слушали с полным вниманием, а Калачевский к концу своей речи опять вернулся к своему радостному сознанию разъясненной наконец судебной ошибки и закончил речь таким образом, что все в зале убедились, что Раппопорта оправдают.

Когда же судьи ушли совещаться, и наступило долгое томительное ожидание приговора в течение двух с лишком часов, — это настроение опять ушло и заменилось тревогой за судьбу подсудимого. Прокурор подошел ко мне и сказал:

— Ну, чего вы волнуетесь, Сергей Сергеевич? Ведь, конечно, ваш жиденок не стрелял.

Калачевский тоже успокаивал меня. Ему тоже до самой последней минуты казалось, что Раппопорта оправдают.

Но вот часов в десять вечера вышел суд и объявил приговор — на двенадцать лет тюремного заключения. Это была самая строгая мера наказания, какую суд имел право назначить шестнадцатилетнему подсудимому, и он назначил все, что мог, при условии, что ни один из судей, как я убежден, ни минуты не мог сомневаться в невиновности Раппопорта.

— Как наплевали в душу, — шепнул мне Калачевский во время чтения приговора. — Неужели они думают, что это может пройти им даром?

— Да, это черная неправда, — ответил я, — гибельная прежде всего для тех, кто ее совершает.

Сам Раппопорт отнесся к приговору тупо-спокойно. Его мать плакала, но и она давно успела привыкнуть к мысли об обвинении, и едва суд удалился, стала расспрашивать нас о кассационной жалобе. Но все оставшиеся в зале свидетели по делу, не исключая пристава, все эти более или менее свежие в суде люди, были поражены. Когда Курочкин, закрывшись бумагой, читал приговор, по залу шел ропот, и я утверждаю, что тогда же никто из присутствующих не воспринял приговора как судебную ошибку: для всех, как и для меня, он с первого момента был черной неправдой.

На другой день мы подали кассационную жалобу. Командующий войсками пропустил ее в главный военный суд. Но недели через две мы узнали, что она оставлена без последствий. Раппопорт был заключен в Екатеринославскую губернскую тюрьму сроком на двенадцать лет, начиная с 7 марта 1909 года.

Условия этой тюрьмы были на редкость тяжелы. Это была, как выражались заключенные, «завинченная» тюрьма, где очень щедро применялось заключение в карцер и часто практиковались избиения, доходившие до истязаний. В 1907 году был случай массового расстрела. На непрерывные нажимы начальства заключенные отвечали отчаянным сопротивлением: нередко объявлялись голодовки и постоянно составлялись планы побегов посредством подкопов, взрывов тюремных стен, нападений на часовых и т. д.

Но, пожалуй, самым тяжелым в Екатеринославской тюрьме было чрезмерное переполнение ее — вдвое, а моментами даже втрое выше установленного комплекта. Вследствие этого, в ней

свирепствовали тифы—брюшной и сыпной, развивался сифилис, и редкий из долгосрочных заключенных спасался от туберкулеза. Но Раппопорт был молод, за три года привык к тюрьме и получил в ней, в общении с политическими заключенными, и воспитание, и образование, развившись к моменту суда уже во вполне сложившегося молодого человека. Приговора он ожидал и отбывал его спокойно, но его мать, находясь в постоянном волнении за жизнь сына, с необычайной энергией продолжала борьбу за него.

Она бросалась всюду, куда можно и куда нельзя: и к членам Государственной Думы от Екатеринослава, Каменскому и Родзянко, и подавала жалобы и прошения сначала Столыпину, потом Коковцеву, когда последний занял пост премьера вместо убитого Столыпина; писала заявления и ходатайства начальнику главного тюремного управления; непрерывно советовалась с адвокатами и т. д. На ряду с этим, чтобы улучшить условия заключения для сына, она непрерывно посещала то начальника тюрьмы, то тюремного инспектора, то губернатора, то генерал-губернатора и осаждала их своими ходатайствами и заявлениями, перенося всевозможные унижения.

Затем она начала кампанию в пользу сына через газеты, и в печати появились два ее письма под заголовком: «Невинно-осужденный». Но, несмотря на все это, ходатайства о пересмотре дела не имели успеха, пока оно не получило огласки в заграничной печати, в газете «Будущее», в номере от 11 февраля 1912 года.

В распоряжение редакции этой газеты попала в 1911 году большая рукопись с изложением дела Раппопорта, доставленная в Париж итальянцем-писателем Кафи, сидевшим в качестве политического заключенного в Екатеринославской тюрьме вместе с Раппопортом. Редакция разыскала в Париже социалистов-революционеров и максималистов, бывших в Екатеринославе во время убийства генерала Желтоновского, узнала от них дело во всех подробностях и получила решительное заявление, что Раппопорт не имел никакого отношения ни к убийству, ни к социалистам-революционерам.

Затем в редакцию «Будущего» была доставлена рукопись, подписанная буквами И. К., с описанием убийства генерала Желтоновского, при чем автор этой рукописи сидел тогда в одной из русских тюрем по небольшому делу, рассчитывая в скором времени быть на свободе и бежать за границу.

Осенью 1911 года этот И. К. действительно явился в Париж и заявил, что он один из убийц Желтоновского, и раскрыл все

дело. Редакция «Будущего» произвела тщательную проверку его рассказа и выяснила окончательно полную непричастность Раппопорта.

Тогда были разосланы статьи об этом деле в редакции русских газет и многим членам Государственной Думы. Но статьи в печати не появились. Наконец, обратились к президенту французской «Лиги прав человека» Франсису Пресансэ, и, по представлению последнего, лига официально обратилась к премьер-министру Коковцеву с ходатайством произвести пересмотр дела Раппопорта. В открытом письме к нему от 8 марта 1912 года Пресансэ, между прочим, писал: «Господин председатель совета, разрешите мне обратить ваше высокое и благосклонное внимание на дело, которое глубоко взволновало общественное мнение не только России, но и нашей страны...» Затем шло изложение дела, и дальше Пресансэ писал:

«В виду этих разоблачений, я по чести и совести заявляю, в целях исключительно гуманистических, без всякой задней политической мысли, что молодой Раппопорт безусловно не виновен, и что он — жертва ужасной юридической ошибки, допущенной военным судом...»

Письмо заканчивалось следующими словами: «Я смею надеяться, что, потрясенный этим известием, вы пожелаете немедленно дать распоряжение, пользуясь доступными вам средствами, о пересмотре процесса 1909 года. Мысль о юридической ошибке совершенно нестерпима для чуткой совести, и ни в одной стране здоровое сознание народа не потерпит, чтобы невинный был принесен в жертву. Сверх того, в данном случае дело идет о ребенке. У него мать, она плачет и просит справедливости».

12 мая 1912 года газета «Будущее» напечатала новую статью об этом процессе — под заголовком: «О возобновлении дела Раппопорта».

Вся эта кампания заграничной печати открыла возможность и русским газетам поместить ряд статей о деле Раппопорта, появившихся одновременно в екатеринославской газете «Южная Заря», в «Одесских Новостях», в «Киевской Мысли», в «Русских Ведомостях», в «Речи», в «Биржевых Ведомостях» и в «Русском Слове».

При таких условиях Коковцеву уже не удалось дальше отмалчиваться, но и назначить пересмотр дела Раппопорта он тоже, конечно, не мог, чтобы не разоблачить этой явной и черной судебной неправды, совершенной властями и военным

судом с обдуманным заранее намерением. Он сделал вид, что и без пересмотра поверил в ошибку, а на ходатайство о пересмотре дела хитро и лицемерно ответил Пресаноэ, что русский суд независим и что он не в праве в административном порядке вмешиваться в дела правосудия. В то же время был дан совет матери подать прошение царю о помиловании.

И Раппопорт был «помилован» и освобожден из тюрьмы с некоторыми ограничениями в правах.

ДЕЛО О ЗАХВАТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ ЛИНИИ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ Ж. Д. В ДЕКАБРЕ 1905 ГОДА

I

С 7 ноября по 19 декабря 1908 года в городе Екатеринославе временный Одесский военно-окружной суд рассматривал дело «о захвате революционерами линии Екатерининской ж. д. в декабре 1905 года» и в результате этой шестинедельной судебной процедуры приговорил 32 человека к смертной казни и 60 человек к каторге на разные сроки.

Это страшное дело, по которому судились 131 человек, сложилось совершенно неожиданно для подсудимых.

Кроме небольшой группы революционеров, остальные подсудимые представляли собою обыкновенных служащих и рабочих, вовлеченных в движение событиями и настроениями 1905 года. Машинисты, станционные агенты, рабочие железнодорожных мастерских, телеграфисты и конторщики — все они приняли участие в октябрьской железнодорожной забастовке, присоединившись к движению, которое, казалось, должно было создать новую, свободную жизнь.

Но в самый день объявления манифеста о свободе поднялась кровавая волна черносотенных погромов. Тогда железнодорожники стали грозить правительству объявлением новой забастовки. Правительство, само не верившее своим обещаниям и не хотевшее расстаться с самодержавными порядками, упорно, тупо и жестоко вело свою линию погромов и усмирений. В результате в декабре 1905 года в Москве действительно была объявлена вторая всеобщая забастовка, приведшая к вооруженному восстанию.

Екатеринославские железнодорожники без рассуждений, тотчас присоединились к ней, в смутной надежде, что только что завоеванные свободы будут спасены. Но новый кабинет министров, во главе с Витте и Дурново, двинул на них воинскую силу, и забастовка перешла в восстание. Местных войск было мало, и восставшие захватили в свои руки почти всю линию Екатерининской ж. д., общим протяжением, с рудничными

и заводскими подъездными путями, более 2.800 верст. Этот захват железнодорожных путей на пространстве всего Донецкого бассейна мог бы создать базу для нового революционного правительства, но провинциальные железнодорожники оглядывались на Москву и Петербург. А там события пошли не в пользу революции; тогда стало падать настроение, и новое столкновение с воинскими силами, после решительной, но слабой по вооружению попытки сопротивления, привело к разгрому. Меньшинство, т. е. действительные революционеры, приняло меры к тому, чтобы укрыться до лучших времен; рядовые же участники восстания, составлявшие главную его массу, укрылись в своих квартирах и быстро заселили собою все местные тюрьмы и всякие временные места заключения.

Потом для них настала долгая и мрачная полоса безмерных физических и моральных страданий. В начале 1906 года, когда правительство еще колебалось и проводило выборы в Первую Государственную Думу, был учрежден на Екатерининской ж. д. особый комитет для разбора степени виновности арестованных. главным же образом для восстановления нормального движения с помощью бывших забастовщиков. Переговорами с судебными и охранными властями комитет этот достиг того, что большая часть арестованных была возвращена на прежние места. Они вернулись к своей прежней беспросветной жизни, но с памятью о пережитом и с тревогой за будущее, так как было начато судебное дело, и исход его никому не мог быть известен.

Кроме небольшой группы революционеров, оставленных в заключении, все остальные, общим числом около трехсот, были освобождены, и те из них, которые чувствовали себя скомпрометированными в глазах власти, рассеялись по всему свету. Судебные власти обо всех скрывшихся разослали публикации о розыске, а о возвратившихся на прежние места продолжали вести следствие, которое потекло канцелярским порядком, почти механически, потому что политический интерес к этому делу у властей быстро миновал: в их глазах оно было по существу уже ликвидировано.

События, происходившие в декабре 1905 года на Екатерининской ж. д., попали в политический архив. Но судебное производство о них, по неумолимому канцелярскому порядку, продолжало итти. И так как в деле было замешано множество лиц и допрашивалось очень большое количество свидетелей, то оно начало странствовать по канцеляриям, по следователям. прокурорам, почти по всей России. Прошло уже больше двух лет, а обвиняемых, выпущенных на свободу под залог и под

поручительство или подписку о невыезде, в течение всего этого времени никакие судебные власти не беспокоили. Они служили на той же дороге и постепенно погружались в свои служебные, семейные и личные заботы. Многие из них успели совсем позабыть о своем состоянии под судом и в значительной степени утратили из памяти подробности своего участия в событиях, а судебное дело все не кончалось.

Весной 1907 года делом о захвате революционерами Екатерининской ж. д. в 1905 году по каким-то случайным причинам заинтересовался всесильный в то время временщик Столыпин. Повидимому, кто-то из чиновных карьеристов подсунул ему это дело, и началась очень сложная переписка между гражданскими и военными губернаторами, между судебными властями и прокуратурой, между директором департамента полиции Вуичем, генералом Каульбарсом, командовавшим Одесским военным округом, и самим Столыпиным о том, чтобы направить это дело в военный суд. С необычайной изворотливостью и искусством изыскивались формальные доказательства того, что такое направление не было бы нарушением закона. Особенно старались обойти то препятствие, что Екатеринославская губерния и весь район Екатерининской ж. д. были объявлены на военном положении только с 20 декабря 1905 года, события же разыгрались между 8-м и 17-м числами декабря, т. е. до этого указа. То ловко, то очень грубо гнули закон, куда хотели, и добились своего: дело как бы само собой оказалось у прокурора Одесского военно-окружного суда. Судебный следователь привлекал обвиняемых по 129-й, 132-й и 126-й статьям Уголовного уложения, т. е. за агитацию, произнесение речей, распространение прокламаций, или за принадлежность к противоправительственному сообществу; обвиняемым грозило заключение в крепости или, в крайнем случае, ссылка на поселение. В военном суде положение изменилось. Помощник военного прокурора Одесского военно-окружного суда капитан Шевяков составил обвинительный акт, по которому большинству было предъявлено обвинение по 102-й статье Угол. уложения, а 71 лицу — по 100-й статье того же уложения. Это означало, что большинству обвиняемых угрожала каторга, а некоторые из них, при условии особо жестокого отношения суда, очутились под угрозой смертной казни. В таком виде обвинительный акт 14 января 1908 года был утвержден командовавшим войсками округа генералом Каульбарсом. В течение весны копии его вручили обвиняемым, служившим на различных станциях Екатерининской ж. д.

Однако и после вручения копий обвинительного акта находившиеся на свободе не были заключены под стражу, — даже те из них, которым была предъявлена грозная 100-я статья. Оставление на свободе, примеры других железнодорожных процессов, а главное — надежда на оправдание — все это внушало им мысль о том, что предъявленное им обвинение несерьезно. То же самое, очевидно, думали и прокурор Одесского военно-окружного суда и командующий войсками; иначе, конечно, они не оставили бы обвиняемых на свободе. Повидимому, никто — ни суд, ни местное начальство, ни печать — не были осведомлены о замыслах Столыпина и департамента полиции и наивно воображали, будто дело попало в военный суд по неумолимым велениям закона, или, точнее, в силу только того, что Екатеринославская губерния состояла на военном положении.

Обвиняемые забеспокоились о защите и обратились к адвокатам, вызвали свидетелей и, когда получили сообщение, что суд удовлетворил их ходатайства о допущении указанных ими защитников и о вызове в суд тех лиц, показаниями которых они предполагали оправдываться, снова погрузились в свои служебные дела и домашние заботы.

Прошло еще полгода, и осенью 1908 года появилось в газетах сообщение, что скоро в Екатеринославе временный Одесский военно-окружной суд будет разбирать это дело и всем обвиняемым прокуратура предъявит 100-ю статью, грозящую смертной казнью. Сообщалось также, что главный военный суд командирует поддерживать обвинение по этому делу помощника военного прокурора подполковника Филимонова, а председательствовать будет военный судья генерал-майор Владимир Александрович Лопатин.

Но замечательно, что и после этого власть не тронула обвиняемых, которые продолжали мирно служить на своих железнодорожных станциях. Все они прочли газетные сообщения и все-таки не поверили, что суд поставит их под угрозу смертной казни и что вообще такая расправа может действительно случиться. Более осторожные из них отправились к своим адвокатам и от них узнали, что, по закону, нельзя менять обвинение в сторону усиления в самом судебном заседании, что и на практике, при всех репрессиях за события 1905 года, таких случаев не бывало. И адвокаты, и обвиняемые ломали головы над газетным сообщением о выплывшей вдруг 100-й статье, наводили справки, писали друзьям и знакомым в Петербург, но никаких новых сведений не получали. Все как будто заглохло.

как будто опять никто, кроме непосредственных участников, не интересовался делом. И в газеты никаких новых сообщений не проникало.

Наконец, в октябре были получены повестки о явке в суд на 7 ноября 1908 года. В Екатеринославе недели за две до того открылась канцелярия военного суда в помещении здания арестантских рот на Тюремной площади. Съехались судьи и оба прокурора — Филимонов и Шевяков. Председатель генерал Лопатин, при первых же обращениях к нему защитников о допущении к обозрению дела, о пропусках к тем обвиняемым, которые были заключены в тюрьме, обнаруживал сильное возбуждение и нередко без всяких внешних поводов терял равновесие. Эти признаки заставили очень насторожиться адвокатов. В самом деле, по закону и на практике, предъявления в суде нового обвинения по 100-й статье как будто не могло быть. Но, с другой стороны, адвокаты знали, что бывает и то, чего не может быть. Всеми средствами они старались узнать от Лопатина, от секретарей, от судей, от их знакомых и вообще в судебных сферах, правда ли, будто существует инструкция главного военного суда в самом судебном заседании предъявить 100-ю и даже 279-ю «висельную» статью. Но здесь все отзывались неведением и явно конспирировали.

Однако обвиняемые не чувствовали за собой такой вины, которая, по их пониманию, могла бы караться смертной казнью, и даже вообще не сознавали за собой никакой сколько-нибудь серьезной вины; они только тяготились долгим состоянием под судом. Поэтому, несмотря на сомнения адвокатов, а в некоторых случаях несмотря на их прямые советы скрыться от суда, несмотря на то, что каждый из них если и не мог скрыться, то, во всяком случае, мог легко, хотя бы на время, уклониться от судебной расправы, они, за исключением очень немногих, пошли на суд.

С раннего утра 7 ноября вся площадь перед зданием арестантских рот была окружена конными и пешими городовыми. Внутри дежурили караульные воинские части. За цепь городовых никого не пускали, кроме обвиняемых, у которых были повестки, свидетелей и защитников, предъявлявших пропуск за подписью самого генерала Лопатина. Обвиняемых, пришедших в суд, обратно уже не пускали, а в заседании суда их окружили тесным кольцом конвойных с шашками наголо. Едва открылось судебное заседание, прокурор Филимонов, по предписанию главного военного суда, сделал заявление об обвинении по 100-й статье Уголовного уложения и 279-й статье XXII кн.

Свода военных постановлений. Защитники возражали, доказывая незаконность этого требования; но суд слушал их нетерпеливо. Лопатин обрывал их. Затем он объявил постановление суда о том, что все наличные подсудимые, за исключением одного, обвиняются как мятежники, поднявшие восстание с оружием в руках, с целью учреждения в России демократической республики взамен установленного основными законами самодержавия, и что, в виду тяжести этого обвинения, они все заключаются в тюрьму. Момент был тяжелый и удручающий, но большинство подсудимых и после этого не могли расстаться со своим наивным представлением, будто происходил суд над ними, а не судебная расправа с целью террора, и поэтому не верили в серьезность своего положения. Они отнеслись к этому, как к тяжелой и жестокой формальности, которую необходимо претерпеть, но которая не может причинить им действительного зла.

Совсем другое впечатление произвела в городе новая квалификация обвинения. Кошмар смертных казней с этого момента навис над подсудимыми. Стало понятно, что конспирировали и скрывали предложение главного военного суда только для того, чтобы обвиняемые не разбежались, что им устроили западню, в которой и захлопнули их. Суд как будто спокойно вел свою процедуру: выслушал чтение обвинительного акта, опросил подсудимых, произвел перекличку свидетелей, распределил порядок судебного следствия.

Затем в течение всех сорока дней судебного следствия подсудимые хотя и робели, но старательно вели свою защиту; и перед концом следствия, 6 декабря, в день именин Николая II, они отслужили в тюремной церкви молебен и послали ему поздравительную телеграмму. Этот шаг был инспирирован администрацией тюрьмы. Некоторые из подсудимых тупо и упрямо ухватились за него, видя в нем путь к спасению; большинству же из них этот шаг принес тяжелые моральные страдания: решившись на него под давлением угрозы смертной казни, они чувствовали себя как бы оплеванными и в то же время понимали, что отказ подписать телеграмму вел прямым путем на виселицу. Отказались присоединиться к телеграмме всего девятнадцать человек, из которых семь впоследствии не устояли и после смертного приговора подали ходатайство о помиловании.

Четверо из отказавшихся ходатайствовать имели в момент декабрьской забастовки 1905 года несовершеннолетний возраст. Это избавило их от применения смертной казни.

Остальные восемь человек, как читатель увидит из последующего, погибли на виселице.

II

Обвинение, предъявленное подсудимым, было формулировано в окончательном виде следующим образом:

«На основании изложенного, все вышепоименованные, в числе 184 человек [1], обвиняются в том, что, когда, в начале декабря 1905 года, из представителей всех крайних революционных организаций образовался боевой стачечный комитет в гор. Екатеринославе, поставивший своей целью насильственно ниспровергнуть существующий в России монархический образ правления, установленный законами основными, и взамен его немедленно созвать учредительное собрание на основании всеобщего, тайного, равного и прямого голосования для установления демократической республики, при чем для достижения этой цели названный комитет постановил объявить политическую забастовку и прекратить товарное и пассажирское движение на всей Екатерининской ж. д., а также прекратить работы во всех железнодорожных мастерских, захватив в свою власть всю линию Екатерининской железной дороги, телеграф, телефон, удалить железнодорожную администрацию и, лишив ее власти, передать таковую своим единомышленникам и сообщникам, разоружить чинов общей и жандармской полиции, подготовить всех железнодорожных служащих на Екатерининской железной дороге, окрестных крестьян и рабочих на рудниках Екатеринославской губернии к вооруженному восстанию, для чего, по указанию боевого стачечного комитета, были образованы на станциях Екатерининской железной дороги: Екатеринославе, Нижнеднепровске, Александровске, Авдеевке, Гришине, Дебальцеве, Юзовке и др., боевые дружины, вооруженные огнестрельным оружием и разрывными бомбами, предназначавшимися для борьбы с чинами полиции и для открытого вступления в вооруженный бой с войсками, они, обвиняемые, разделяя взгляды боевого стачечного комитета, действуя по его указаниям и имея те же намерения и преследуя ту же конечную цель уничтожения в России монархического образа правления и создания взамен демократической республики, заведомо, сообща вместе со многими не обнаруженными лицами

---

[1] На скамье подсудимых, как сказано выше. было 131. Большая часть из остальных 53 скрылись, а часть умерли до суда или погибли в Екатеринославской губернской тюрьме при стрельбе после взрыва 27 апреля 1908 года (см. ниже).

в декабре 1905 года захватили в свои руки всю Екатерининскую железную дорогу и телеграф, лишив власти железнодорожную администрацию, и стали пользоваться железной дорогой исключительно для своих целей, перевозя мятежников и боевые дружины, силою отняли на железнодорожных станциях оружие у чинов общей и жандармской полиции, вступили в боевые дружины, образовавшиеся на различных станциях Екатерининской железной дороги, а когда, по распоряжению администрации, высланы были войска для водворения порядка на железной дороге, для восстановления законных властей и для подавления мятежа, то они, обвиняемые, сосредоточив громадное число мятежников и боевых дружин на ст. Ясиноватой и будучи вооружены ружьями, револьверами, пиками, 13 декабря 1905 года, днем, обезоружили часовых, поставленных для охраны железнодорожного имущества от 12-й роты 280-го пехотного Балаклавского полка, а затем напали на эту роту, расположенную на продовольственном пункте ст. Ясиноватой, убили ротного командира штабс-капитана Карамышева и, открыв со всех сторон стрельбу по помещению, где находилась рота, принудили всю роту к сдаче, захватив при этом 53 казенных винтовки и ранив во время стрельбы ротного фельдшера Васильева и рядового Фогельнеста, после чего разгромили продовольственный пункт, затем, вечером того же числа, а также 14 декабря 1905 года, сосредоточив громадное количество мятежников и боевые дружины с других станций Екатерининской железной дороги на ст. Александровск и будучи вооружены винтовками, захваченными на ст. Ясиноватой от нижних чинов 13-й роты 280-го пехотного Балаклавского полка, ружьями, револьверами и разрывными бомбами, вступили в бой с войсками, расположенными на этой станции, при чем войсками штурмом были взяты два вокзала ст. Александровск Екатерининской и Курско-Харьковско-Севастопольской железной дороги, и в бою с мятежниками ранен был командовавший полусотней казаков подъесуал Скандилов и казак Дуплан, вслед за тем, по окончании боя, они, обвиняемые, разобрали железнодорожный путь между станциями Игрень и Илларионово, с целью произвести крушение воинского поезда, в коем следовал 133-й пехотный Симферопольский полк, вызванный для подавления мятежа; однако, крушение поезда не последовало, только потому, что порча была своевременно замечена, и, наконец, 17 декабря, сосредоточив громадное скопище мятежников и собрав боевые дружины на станции Горловке, напали на отряд войск, находившийся на этой станции для подавления мятежа под коман-

дой капитана Угриновича, и, открыв стрельбу по ротному двору, где в то время находился отряд войск, убили двух нижних чинов, ранили четырех тяжело, из коих один скончался, и восемь легко, и, кроме того, убили девять казенных лошадей, а затем разгромили ротный и конный дворы, причинив убытки казне на сумму в 2.763 рубля 31 коп. Деяния эти в отношении всех обвиняемых предусмотрены 1-й частью 100 ст. Угол. улож., изд. 1903 года, 279 ст. XXII кн. С. В. П., 1869 года, изд. 3-е.

«Кроме того, Архип Цивилько обвиняется еще в том, что в период декабрьской забастовки 1905 года, с целью возбудить неуважение к священной особе государя императора, позволил себе неоднократно публично на станции Гришино дерзко говорить, что его и лиц, составляющих высшее правительство, «надо повесить», что предусмотрено 1-й частью 103 ст. Угол. улож. И, независимо от изложенного, Сергей Косьмин обвиняется в том, что 13 декабря 1905 года, перед уходом 5-й роты 136-го пехотного Таганрогского полка со станции Горловки на станцию Никитовку, он подошел к нескольким чинам роты и стал говорить, что в Екатеринославе войска не стреляли в мятежников, а положили оружие и присоединились к восставшему народу, так как восставшие хлопочут и за солдат, а затем спрашивал этих нижних чинов, последуют ли они примеру своих екатеринославских товарищей и откажутся ли стрелять в народ, если о том последует приказание начальства, что предусмотрено 1-й частью 131 ст. Угол. улож., изд. 1903 года».

III

Приведенная выше формулировка обвинения была принята, как известно уже читателю, при открытии судебного заседания, на основании предложения главного военного суда.

То, что суд принял новую квалификацию обвинения в судебном заседании, било всем в глаза своей незаконностью. Судьям нужно было как-то оправдывать ее даже перед самими собою. О том, как они это делали, у нас имеется очень любопытное документальное свидетельство, а именно: по поводу новой квалификации обвинения начальник Екатеринославского губернского жандармского управления полковник Шредель в своем секретном донесении департаменту полиции о ходе этого процесса написал следующее:

«Не подлежит сомнению, что защита подаст кассационную жалобу, основываясь на том, что суд принял дополнительное обвинение по 100 ст. Угол. улож., против всех наличных подсудимых (130 человек), из коих только 71-му было предъявле-

но это обвинение до открытия судебного заседания; в отношении остальных эта статья командующему войсками округа для санкции не представлялась.

«С формальной стороны защита будет права, но не по существу, так как квалификация по 100 ст. Угол. улож. основана не на каких-либо новых фактических данных, а вытекает из материала, добытого на предварительном следствии. Затем защитники не усматривают единства действия в выступлениях подсудимых и стараются затушевать мятежные действия, рассматривая вооруженные столкновения в отдельных пунктах. как простое сопротивление властям; некоторые же отрицают даже наличность сообщества, предусматриваемого 102 ст. Угол. улож.

«Об общем ходе процесса представляю дополнительно».

С точки зрения процессуальных законов, образ действия военного суда был беспримерным. Ни сенат, ни главный военный суд никогда не разрешали изменять после открытия судебного заседания квалификацию обвинения в сторону усиления репрессии и предъявления дополнительных обвинений по статьям, неуказанным в обвинительном акте. Предъявление новых или дополнительных обвинений не допускается в самом судебном заседании независимо от того, правильны или не правильны они по существу, по той единственной причине, что это ставит обвиняемых в полную невозможность защищаться. Это то же самое, что неожиданное нападение из-за угла, или подсиживание жертвы в засаде. Не приняв мер к защите против нового обвинения, не вызвав для парирования его свидетелей, не приготовив возможных документальных доказательств, нельзя вести защиту.

IV

Помимо описанного процессуального приема, нечто совершенно исключительное представляла та внешняя обстановка и то помещение, в котором происходили судебные заседания по этому делу. Как сказано уже, оно слушалось в помещении исправительных арестантских рот, находившихся на Тюремной площади. В нем не нашлось ни одной большой камеры, в которой можно было бы разместить для заседаний 131 подсудимого с усиленным конвоем, суд, защиту, прокуроров, секретарей и допрашивать около 2.000 свидетелей. Единственный большой зал представляла тюремная церковь. В ней наскоро отделили перегородкой из досок алтарь от помещения для моля-

щихся, а из последнего удалили предметы культа. Таким образом суд заседал собственно в церкви, и здесь же объявил свой приговор. Потом церковный зал был снова приведен в прежний вид, и в нем опять отправлялись обычные богослужения.

Когда началось дело, полковник Шредель донес департаменту полиции, что это громкое дело «возбуждает общий интерес, но происходит при закрытых дверях в виду ограниченности помещения, а также в видах безопасности».

«За несколько дней до начала сессии суда,—писал дальше Шредель,—а также 7-го сего ноября стали поступать сведения о том, что революционные организации подготовляют нападение на конвой, сопровождающий арестантов из тюрьмы в исправительное отделение и обратно, для чего будто бы заготовлена большая сумма денег (до 28.000 руб.) и статское платье. Меры предосторожности приняты, конвой достаточно надежен и силен, привод и отвод арестантов будет происходить засветло».

«В ночь на 4 ноября,—заканчивал свое донесение Шредель,—на Петровских заводах и Веровском руднике (ст. Енакиево) чинами полиции были подняты два экземпляра прокламаций издания Юзово-Петровского Комитета Р.С.-Д.Р.П., с призывом «уничтожить без остатка» свидетелей по делу о захвате ст. Горловки, вызванных в Екатеринослав на 7 ноября сего года».

Кого дурачил Шредель—себя ли самого, департамент ли полиции или военный суд, который во главе с Лопатиным необычайно легко верил этим слухам,—неизвестно, но надо сказать, что цель—терроризировать суд всеми этими мерами предосторожности—была достигнута.

Когда судьи проходили через Тюремную площадь, конные стражники далеко оттесняли толпу родственников, жен, сестер, матерей, невест и знакомых, которые ежедневно с раннего утра дежурили за воротами арестантских рот, в ожидании привода и увода подсудимых. Они держались здесь общей массой, печальные, бледные, многие с опухшими от слез глазами, тоскующие или совсем отчаявшиеся и в общем жалкие. И все-таки Лопатин не решался проходить близко от них и приказывал городовым держать их поодаль.

При всяком шуме или крике Лопатин и другие судьи вздрагивали, а иногда председатель совсем терял равновесие. Так, во время чтения обвинительного акта, которое длилось два дня в виде жужжания секретаря, при чем всех одолевала тоска и

скука, болела спина, некуда было деть руки, хотелось лечь и уснуть, один из конвойных, задремав, уронил свое оружие, и от этого стука все вздрогнули, а Лопатин побледнел, откинулся на спинку кресла, а потом, овладев собою, начал нецензурно ругать конвойного.

В другой раз служитель-арестант принес заправленную, но еще не горевшую лампу и, вставляя в гнездо, свешивавшееся с потолка, уронил ее от страха перед председателем, который, не спуская глаз, следил за ним. Лампа грохнулась, и в зале раздался точно взрыв бомбы. Лопатин так испугался и побледнел, что даже не мог обругать арестанта и только, когда тот ушел, злобно проворчал ему что-то бранное вслед.

В таком состоянии страха Лопатин пребывал в течение всего процесса. Это настроение в нем сменялось только рассчитанной и спокойной жестокостью, с которой он выпытывал у подсудимых признания. Его состояние в значительной степени сообщилось и остальным судьям,—строевым полковникам, временным членам суда.

Этот нелепый страх ожидания покушений сыграл роковую роль в процессе. Из обыкновенных людей, какими являлось перед судом большинство подсудимых и какими вначале их считали и сами судьи, они постепенно обратились в его глазах в коварных и страшных врагов, искусных во всяких террористических покушениях. Судьи, естественно, озлобились по отношению к ним, а главное—перестали им верить, хотя большинство рассказывало о себе сущую правду. В глазах Лопатина все это были волки в овечьей шкуре, которых нечего было жалеть и расправа с которыми, по его понятию, представляла его служебный и верноподданнический долг. Позиция эта прямо противоречила действительности и создавала на каждом моменте процесса непримиримые противоречия между председателем и защитниками, которых к концу суда он также возненавидел. При всей ловкости и лояльности привыкших к военным судам адвокатов, Лопатин не раз грозил защите удалением из заседания, обрывал, демонстративно не слушал и всячески старался дискредитировать ее.

Положение защитников было необычайно тяжелое и трудное, но, в интересах подсудимых, они выдерживали его до конца, упорно ведя свою линию защиты.

Нужно заметить, что во всех судах играют большую роль в отношениях судей к подсудимым условности, которыми обычно обставляются судебные процессы: торжественные залы,

красное сукно на столах, зерцала [1] и в особенности одежда судей в виде парадных мундиров с густыми эполетами, с орденами, в которой судья чувствовал себя не человеком, а какой-то государственной фигурой, заключавшей в себе особый судейский механизм. Фигуру эту почему-то все обязаны были уважать, а она—повелевать и действовать в интересах закона, олицетворенного в золотом зерцале, и забывать обо всех человеческих чувствах и отношениях. Как раз так держался на суде генерал Лопатин и с необычайной ревностью старался внушить это всем участникам судебного заседания, особенно своим коллегам по судейскому столу, строевым полковникам, т. е. судьям, взятым от «сохи», непривычным к такой жестокой условности.

V

Генерал Лопатин был среднего роста, стройный, по-военному выправленный, сорокалетний человек, очень моложавый, с необыкновенно белым, по-женски выхоленным лицом. Он имел прямой нос, очень пушистые, взбитые кверху усы и голубые глаза,— которые всегда таращил, «съедая» ими подсудимых и свидетелей, — очень элегантные манеры и голос, вибрирующий от приятных женских нот до дикого смотрового крика.

Надо еще прибавить к этому густые эполеты, которыми он искусно играл при движении плечами, и манеру постоянно разглаживать пушистые усы. Замечательно также было в Лопатине внешнее проявление религиозности: например, он крестился, когда приводил к присяге, не упускал случая помолиться, проходя мимо городских церквей, и присутствовал на молебне в тюрьме в день именин Николая II.

Не менее роковую роль, чем Лопатин, играл в процессе командированный ему в помощь исправляющий должность военного судьи полковник Курочкин. Сидя за судейским столом, справа от Лопатина, он все время осматривал подсудимых прищурившимся беспокойным взглядом. С карандашом в руке, Курочкин педантично делал о каждом какие-то отметки, которые потом должны были играть роль при определении их судьбы. Бритый, с сухим желто-серым лицом и седой щетиной на голове, он, рассматривая подсудимых, говорил тонким голосом, как скопец, и всегда на одной ноте. Его роль в процессе

---

[1] Зерцалами назывался особый прибор, имевший обрядовое значение в судах. Он представлял собою трехгранную золоченую призму, по сторонам которой, в рамах под стеклом, были указы о соблюдении в судах законов.

заключалась в том, что он собирал и систематизировал обвинительный материал, тщательно работал и изучал дело по всем тридцати томам предварительного следствия, не упуская никаких мелочей, и следил, чтобы не было процессуальных нарушений, могущих дать лишние поводы для кассационных жалоб. В противоположность темпераментному и более или менее необузданному судье Лопатину, привыкшему давать волю своим страстям, Курочкин представлял собой, так сказать, штампованный судейский механизм, работавший, как хорошие часы, и всегда в одном направлении—в сторону жестокости. Кстати сказать, в результате этого процесса Курочкин был назначен на генеральскую должность военного судьи, которую он исправлял раньше временно, откомандированный из военных следователей.

Судьи, полковники строевых частей, имели в этом деле, как всегда, совершенно второстепенное значение. Как непривычные к судебным процедурам люди, они в течение всего процесса чувствовали себя очень беспокойно, волнуясь от своей неожиданной власти над жизнью и смертью 131 подсудимого и взвинченные опасениями террористических покушений.

Среди них выделялся седой до полной белизны, очень сутулый, задыхавшийся уже от старости, с отвислыми, морщинистыми щеками пехотный полковник, стоявший уже, как говорится, одной ногой в могиле. Он сидел за столом мертвенно-желтый, бессильный, тоскующий, усталый и в то же время очень страшный, словно живое олицетворение смерти, витавшей в зале все эти шесть недель над головами целой толпы людей. Часто он сидел в своем кресле совсем забывшись, не то спящий с открытыми глазами, не то бодрствующий, но внутренно отсутствующий, как покойник.

Помощник военного прокурора капитан Шевяков представлял собою ровного, выдержанного судейского чиновника.

Гладко выбритый и чистенький, он очень прямо держал голову и всю небольшую фигуру, с такой осанкой, как будто все приподнимался на носки, чтобы быть немножко выше. На его лице сохранялось всегда одно и то же привычное выражение спокойствия, которое говорило, что он выше всех волнений и забот окружающих его людей и носит в себе живое олицетворение закона.

Он ходил с военной выправкой, позвякивая шпорами, всегда одним и тем же деловым шагом, неторопливым и ровным, как человек, очень хорошо рассчитавший свое время впредь на всю жизнь и превосходно знающий свое дело и свои обязан-

ности, тоже вполне ясные ему в течение всей жизни. Свою обвинительную речь он говорил в течение семи часов, издавая приблизительно такой звук, как пишущая машина под пальцами хорошей машинистки, только перебирая при этом свои пронумерованные бесчисленные записки.

Другой помощник военного прокурора, командированный главным военным судом, подполковник Филимонов. был человек лет тридцати пяти, с необычайно холеными руками, с энергичным лицом, выдержанный и приятный в обращении. Брюнет с мефистофельской бородкой, он имел свободные манеры и говорил широкими построениями, с оттенком публицистики и с несомненным ораторским дарованием. Он выступал уверенно, как человек, знающий себе цену, но внутренно волновался, изображая картину декабрьских событий 1905 года, перешедших затем в «мятежнические действия», как он квалифицировал восстания, завершившиеся открытым боем на станции Горловке с правительственными войсками. Его речь была великолепно рассчитана на психологию судей и произвела на них сильное впечатление. Им казалась неотразимой его логика. В хаосе, который происходил на всей линии Екатерининской ж. д., он видел один общий продуманный план, выполнением которого руководила какая-то невидимая рука. Все отдельные эпизоды на станциях были искусно инсценированы ею в порядке этого плана и, несомненно, вели к ниспровержению установленного основными законами государственного строя, в силу чего в отношении всех подсудимых он поддерживал обвинение по 100-й статье. Он постоянно повторял в своей речи слова «мятеж» и «мятежнические действия» и типнотизировал ими судей. Подсудимых его речь, при удивительной ее внешней стройности и логичности, не только волновала. но и возмущала.

Слушая подполковника Филимонова, адвокаты понимали, что им трудно будет бороться против его доводов перед такими слушателями, как Лопатин, Курочкин, седой полковник и остальные судьи. Защитники так же волновались и негодовали, как и их подзащитные, и усиленно готовились парировать и разрушать построения Филимонова.

В течение всего судебного следствия Филимонов держался довольно пассивно, совсем не касался при допросе свидетелей действий отдельных подсудимых и старался только установить те обстоятельства, которые он подводил потом под понятие мятежа и мятежнических действий. Кроме обвинительной речи, он выступил еще, как сказано выше. в начале судебного засе-

дания с заявлением, в котором мотивировал, по поручению главного военного суда, дополнительные обвинения и предложил приведенную выше новую формулировку выводов обвинительного акта.

Всю фактическую работу собирания улик против отдельных подсудимых в течение всех шести недель упорно тащил на себе, как ломовой конь, капитан Шевяков. Филимонов, так сказать, гастролировал двумя выступлениями, в начале и в конце процесса, но именно он сыграл в нем наиболее решительную роль. Как-никак, но имея перед собой 131 подсудимого, которые, то с отчаянием, то с надеждой, страстно боролись за свою жизнь, и которых упорно и часто весьма искусно поддерживала защита, представленная двенадцатью адвокатами, — суд не мог не волноваться и не колебаться в своих отношениях хотя бы к отдельным подсудимым. Людей, представляющих собою просто бесчувственные деревянные манекены, в природе не бывает. Не бывает таких и судей. Проведя на одном общем деле исследования декабрьских событий шесть недель вместе с подсудимыми и защитой, судьи входят в те или другие отношения с каждым из них, и, как ни тренировали они себя на расправу с подсудимыми, все-таки нравственно никто из них не оставался спокоен, исключая, может быть, одного безжизненного старого полковника. И сам Лопатин, и даже Курочкин нередко обнаруживали в течение процесса признаки крайней тревоги, просто потому, что фигура того или другого подсудимого им оказывалась неясной. При допросе свидетелей они вызывали их и требовали объяснения их поведения во время декабрьских событий, не знали, верить им или не верить, колебались, снова допрашивали свидетелей и снова требовали объяснений от подсудимых. Особенно часто это случалось тогда, когда защита упорным допросом устанавливала и доводила до очевидности чью-либо невиновность или непричастность к делу или когда при допросе свидетелей из числа начальствующих лиц железной дороги или полиции оказывалось, что события на той или другой захолустной станции совсем не походили на «мятеж».

Подполковник Филимонов разрушал своей постройкой все их колебания, успокаивал все их волнения, доказывал правоту их раздражения и так искусно перегримировал всех подсудимых на глазах у суда в мятежников, что судьи даже не заметили процесса этой работы, а просто были в восторге от его обвинительной речи. В кулуарах суда, в буфете они не скрывали этого от защитников, называли речь талантливой и бле-

стящей, а присутствовавший на процессе начальник Екатеринославского губернского жандармского управления полковник Шредель в тот же день, как речь Филимонова была произнесена, 16 декабря 1908 года, послал о ней восторженное секретное донесение за № 14035 департаменту полиции. В нем сообщалось, что помощник военного прокурора подполковник Филимонов говорил полтора часа и чрезвычайно рельефно изобразил грандиозную картину декабрьских событий. Речь называлась талантливой, впечатление от нее—очень сильным, ее логика—неотразимой.

VI

Как сказано выше, на процессе все время присутствовал начальник Екатеринославского губернского жандармского управления полковник Шредель. Его официальная обязанность была следить за ходом процесса и систематически осведомлять о нем департамент полиции. Эту свою обязанность Шредель исполнял очень тщательно и несколько раз в течение процесса посылал департаменту полиции подробные донесения, в которых изображал не только ход дела в суде, но и самые события, бывшие предметом судебного разбирательства. Давая отзывы о прокурорах и защитниках, он сообщал положение в деле тех или других обвиняемых и составлял их характеристики. Находясь в постоянном общении с судьями в течение шести недель, он, конечно, не воздерживался перед ними от суждений о деле и об отдельных подсудимых. Надо полагать, что при этом он осведомлял их и относительно тех данных, которые имелись в екатеринославском охранном отделении; таким образом, не сидя за судейским столом, он являлся, так сказать, дополнительным, нелегальным судьею. Если не допустить этого предположения, то приговор по отношению к некоторым подсудимым, против которых не было улик, остался бы непонятным.

Если у суда могли быть свои психологические и формальные мотивы, обусловившие вынесенный им тяжелый приговор, то наверху их, конечно, не было. Там делали политику, и делали ее очень элементарно: желали устрашить обывателя, и устрашали его казнями. Хотели, чтобы обыватель трепетал и чтобы ему не повадно было на будущее время участвовать в политических движениях. И именно потому, что процесс был массовый, что в нем участвовало более двух тысяч свидетелей, что в нем, принимая в расчет семьи подсудимых,

было непосредственно заинтересовано несколько сот лиц, нужна была Столыпину эта страшная расправа.

Как всегда в таких делах, нашлись ревностные исполнители—Лопатин и Каульбарс, которые оставили за собой в тени фигуру самого Столыпина и действительно навели ужас. В те годы (после роспуска 1-й Думы) Столыпин, а вместе с ним и все правительство Николая II сознательно установили отвратительный культ смертных казней. Столыпин гордо кричал тогда: «Не запугаете!» — а сам стремился довести всю страну до оглушения смертными казнями и с этой целью давил на совесть военных судей и подстрекал их на беспощадность, разнуздывая злобу палачей всех положений и рангов, пока висельные дела и смертники не обратились в рядовое «бытовое явление», и военные суды не стали практиковать смертные приговоры по закону, вынося их пачками, как в данном деле, и подписывая их походя.

Но даже и в такой обстановке приговор по «делу о захвате революционерами линии Екатерининской ж. д. в декабре 1905 года» выделялся своим холодным, рассчитанным ужасом. Здесь между приговором и событиями прошло три года. Ни о какой страсти борьбы с политическими противниками также не могло быть речи. Рассудок усмирителей оставался спокойным. Три года они возились с предварительным следствием. Шесть недель заседали в суде и еще восемь месяцев после суда переписывались, пока окончательно утвердили смертный приговор над восемью человеками и казнили их. Это был террор на всякий случай, над раздавленным еще три года назад противником.

В Первой Государственной Думе Столыпин в пылу полемики как-то цинично сказал по поводу возможных судебных ошибок при смертных приговорах, что когда горит дом, то не жалеют стекол, чтобы потушить пожар. Казалось, на время пожар был потушен, а он все продолжал «бить стекла», пока, наконец, сам не был убит провокатором из своей собственной охраны.

VII

Первые дни суда заняли допрос подсудимых и перекличка свидетелей. Их было так много, что они были собраны на дворе, толпою тысяч до двух человек.

Затем началось чтение обвинительного акта, объемом в 114 страниц. Оно заняло целиком два судебных заседания и навело на всех томительную и нудную скуку. Едва закончилось чтение, как встал подполковник Филимонов и сделал, как опи-

сано уже, заявление о том, что согласно материалу, изложенному в обвинительном акте, выводы последнего должны быть изменены, и произнес целую речь, в которой мотивировал новое обвинение, приведенное нами выше. Теперь все подсудимые обвинялись огульно, так сказать, вкупе за все революционные события, происходившие не только на Екатерининской ж. д., но во всем Донецком бассейне. Всем одинаково ставилось в вину участие в Горловском бою, убийство штабс-капитана Карамышева в Ясиноватой, разбор рельс и проч. И деяния всех одинаково были квалифицированы по 100 ст. Угол. улож. и по 279 ст. XXII кн. Свода военных постановлений.

Хотя все ожидали, по слухам, что обвинение будет изменено, но заявление подполковника Филимонова произвело прямо ошеломляющее впечатление. Это был первый момент в деле, когда все почувствовали ужас надвигавшихся казней. Защита тотчас же заявила самый энергичный и обстоятельно мотивированный протест, который был обоснован настолько бесспорно с точки зрения процессуальных законов, что даже жандармский полковник Шредель, присутствовавший на суде, донес департаменту полиции, что «защита с формальной стороны будет права». Филимонов возражал. Ему снова отвечали защитники. Лопатин слушал Филимонова, можно сказать, с восторгом и после его речи имел вид победителя. Доводы защиты не доходили до его сознания и прямо раздражали его. Он обрывал адвокатов, старался смутить и сбить их своими окриками с позиции, но защитники упорствовали и не сдавались. Как судья, Лопатин понимал, что он нарушает закон, и это еще больше поднимало его злобу. Наконец он не выдержал и отказал сторонам в новых репликах.

— Суду все ясно,— объявил Лопатин и удалился вместе с судьями на совещание.

Когда судьи снова заняли свои места за столом с зерцалом и красным сукном, Лопатин имел злобно-радостный, прямо торжествующий вид. Он объявил, что суд принимает новую формулировку обвинения по 100-й и 279-й статьям и вместе с тем определяет—заключить всех обвиняемых по этому делу, находившихся на свободе, немедленно под стражу. При этом, чтобы усилить впечатление, Лопатин повысил голос, и определение прозвучало в суде как военная команда. Этот крик ударил всем по нервам.

Дальше суд перешел к опросу подсудимых о том, признают ли они себя виновными. Лопатин выкликал фамилии, и все по очереди, на разные голоса, отвечали ему:

— Не признаю.

— Нет, не признаю.

Некоторые пытались тут же давать объяснения и оправдываться. Лопатин обрывал их и заявлял:

— Успеете, у вас будет для этого свое время.

Затем началось так называемое судебное следствие, т. е. допрос свидетелей.

Они все были разделены по станциям, и для каждой группы Лопатин точно определил время явки на допрос. Процесс начался 7 ноября, а допрос свидетелей закончился к 12 декабря. Внешний порядок был налажен, можно сказать, образцово. Все происходило точно по-военному, в указанное время, и Лопатин сердился, если случались какие-нибудь нарушения,— например, запаздывали к назначенному дню отдельные свидетели. Он распекал их, грозил штрафом и сообщением начальству.

Чтобы было еще больше порядка, Лопатин предложил подсудимым не сидеть в суде все время судебного следствия, а являться группами по тем станциям, допрос свидетелей по которым будет происходить в данном заседании.

— Это ваше право,— говорил Лопатин.— Если хотите, то можете не присутствовать на суде, когда показания вас не касаются.

Но подсудимые не желали воспользоваться этим удобным для суда правом. Защита же использовала этот случай и заявила суду, что, очевидно, суд сам считает деяния подсудимых по отдельным станциям совершенно обособленными, предложив такой порядок заседания.

Предложенный председателем порядок еще раз показывает неправильность предъявления огульного обвинения всем по 100-й и 279-й статьям.

При этом заявлении защиты Лопатин так вскипел, что не желал ничего слушать, отворачивался к окнам от говоривших, затем лишил защитников слова по этому вопросу, а при новой попытке припрозил удалить из заседания.

Самый допрос свидетелей тоже нередко сопровождался инцидентами. Почти все свидетели, не исключая крупных должностных лиц и даже некоторых чинов наружной полиции, давали показания более или менее объективно и в большинстве случаев в пользу подсудимых, а при щекотливых вопросах обычно отзывались «запамятованием». Ни прокурорам, ни Лопатину и Курочкину никакими напоминаниями не удавалось добыть от некоторых из них нужных им улик против отдельных

подсудимых. Когда так вели себя свидетели городовые или околоточные и пристава или жандармские унтер-офицеры и ротмистры железнодорожных отделений, это доводило Лопатина до бешенства.

Сначала он, спокойный на вид, только нервно теребил усы и советовал им вспомнить о долге службы. Потом ехидно читал показания, данные свидетелем на предварительном следствии, и требовал, чтобы тот подтвердил их. Когда случалось, что и после этого свидетель отзывался запамятованием, или, особенно, когда отрицал правильность записанного следователем, то происходили бурные сцены. Председатель багровел, глаза его выкатывались и неподвижно упирались в свидетеля, а рот извергал поток угроз рапортом по начальству, увольнением от службы и даже судом за лжесвидетельство. Но в большинстве случаев свидетели не смущались его криками (вероятно, вообще привычные к крикам начальства) и обычно более или менее ловко уклонялись от дачи показаний, уличающих подсудимых.

Лопатин и судьи приписывали такое поведение свидетелей тому, что они терроризированы. Надо вспомнить, что полковник Шредель доносил департаменту, что найдены прокламации, в которых содержался призыв уничтожить всех свидетелей по этому делу. Этой прокламации он не приложил к донесению. Вероятнее всего, что ее никогда не было. А если она и была, то, очевидно, исходила из кругов охранки, т. е. носила провокационный характер. В действительности, конечно, свидетелей никто не запугивал, кроме самого Лопатина. Вся их масса была подавлена обстановкой суда, искренно сочувствовала подсудимым и негодовала на суд, поставивший их под угрозу смертной казни. При таком противоположном отношении к делу свидетелей и суда, между ними, конечно, не могло быть общего языка. Каждое слово, каждый жест свидетелей встречали недоверие. Когда свидетель пытался искренно и просто сообщить свой взгляд на дело, то он точно резал ножом уши Лопатина, который или обрывал его или даже сажал на место.

В такой атмосфере велось все судебное следствие, допрашивались сотни свидетелей в течение шести недель, и чем дальше шло дело, тем создавался все больший и больший сумбур вокруг событий, бывших предметом судебного разбирательства. Никакого истинного освещения их установить уже не было возможности. Только время и утомление судей, прокуроров, подсудимых и защиты вносили более спокойную струю. В та-

кие моменты вдруг все замирало. Свидетели что-то бормотали, судьи и Лопатин их не слушали. Прокуроры и защита о чем-то спрашивали свидетелей. Но все их показания протекали мимо, как вода.

Когда защитники, пытаясь оттенить те или другие факты, удостоверенные свидетелями, подчеркивали их и обращали на них внимание суда, Лопатин махал рукой и говорил, что суд все видит и все слышит.

В такие моменты наступала томительная тоска. Судьи зевали и не находили положения в своих креслах, то опираясь на стол, подпирая голову обеими руками, то откидываясь на спинку кресла и вытягивая ноги, то приваливаясь на подлокотники.

Неутомимым оставался только подполковник Курочкин, который не успускал случая задавать вопросы свидетелям, слушал объяснения обвиняемых по поводу показаний, данных свидетелями, и все что-то записывал на своих листах бумаги, тогда как у других судей они оставались чистыми или разрисованными карикатурными профилями, чортиками, женскими головками и проч. Таким же неутомимым был и помощник военного прокурора капитан Шевяков. Для каждого подсудимого у него был свой листок с вопросами, которые задавались свидетелям. Он ничего не упускал и все записывал, и очень старательно и точно использовал все это впоследствии в своей обвинительной речи, которая длилась семь часов. А до этого времени не раз, конечно, использовал свои записи против подсудимых в кулуарных беседах с судьями, с которыми вне заседаний находился в постоянном общении. У подполковника Филимонова была, как сказано выше, другая роль. Его не интересовали улики против отдельных лиц. Он старался только во время судебного следствия установить в наиболее ярких и кровавых тонах общую картину восстания на Екатерининской ж. д. и в прилегающих районах Донецкого бассейна, а главное—объединить все эти хаотически происходившие события одним общим руководительством какого-то оставшегося не обнаруженным единого революционного центра, по плану которого были будто бы инсценированы все отдельные эпизоды на всей линии Екатерининской ж. д. в период времени с 4-го по 17 декабря. Этот взгляд на дело плохо вязался с предетавлением о нем свидетелей из начальствующих лиц Екатерининской ж. д. и высших чинов железнодорожной полиции. Филимонов спорил с ними, при поддержке Лопатина, и старался добиться от них согласного со своим взгляда на дело. Уда-

валось это довольно плохо. Даже когда свидетели соглашались с ним, их показания были тусклы, никакой картины не выходило. После допроса первых свидетелей из начальствовавших лиц Филимонов успокоился, очевидно, решив создать нужную ему картину самостоятельно в обвинительной речи, и большую часть судебного следствия или отсупствовал, куря в коридорах, или что-то читал, мало обращая внимания на то, что происходило в зале.

Сам Лопатин часто скучал, бездушно рассматривая кончики своих пушистых усов и вяло покручивая их. Даже подсудимые часто целыми часами скучали под вялое бормотанье свидетелей, которые сменялись поминутно один за другим, как фигуры в кинематографе. Оживлялись при этом только те из подсудимых, о которых говорил в данный момент тот или другой свидетель. Они вставали и заявляли суду, что хотят дать объяснения. Лопатин предоставлял им слово и, большею частью, так же не слушал подсудимых, как не слушал и свидетелей, заявляя, что у них еще будет время дать свои объяснения суду в последнем слове.

Некоторое оживление наступало только в те моменты, когда Лопатину, Курочкину или Шевякову казалось, что свидетели уличают в чем-то того или другого из подсудимых. Тогда они сами вызывали его на объяснения и со скромным видом спрашивали:

— А вы ездили в Горловку?

— У вас был револьвер?

— Кто снабдил вас оружием?—и т. д., и т. д.

И тотчас что-то записывали.

Потом опять все успокаивалось, опять нависала нудная скука, от которой у всех болели спины и некуда было деться.

Так длилось судебное следствие изо дня в день, с десяти часов утра до сумерек, не внося никакой ясности в дело. И как ни старались его участники установить те или другие события, они, конечно, ничего установить не могли ни в сторону защиты, ни в сторону обвинения, и Фемида с каждым днем становилась все более и более слепой.

VIII

Судебное следствие закончилось к 12 декабря. С этого дня начались «прения сторон». Перед ними все подтянулись. Из зала ушла скука. Казалось, что-то новое, более ясное будет внесено в дело. По крайней мере, так думали подсудимые, надеясь на речи защитников и на свое последнее слово; в ожи-

дании его они не спали по ночам, обдумывая, что скажут судьям. Очень немногие более или менее спокойно ожидали приговора. Большинство ждало прений, как момента последней борьбы за оправдание.

Защитники яснее понимали положение. Они упорно готовились к своим речам, но почти не рассчитывали на их воздействие на волю судей.

Прения сторон начались охарактеризованной выше речью подполковника Филимонова. Она резала ухо своей противоположностью объективной правде и злобно-радостным тоном. Филимонов уверенно тащил всех 131 человека на виселицу, совсем не обращая на подсудимых никакого внимания, точно их не было в зале или перед ним сидели театральные статисты, на судьбе которых его слова не могли отразиться. Он выступал, как человек, заранее торжествовавший свою победу, и успел убедить судей в том, что если они приговорят к казни, то это будет сделано ими по закону, и начальство ждет от них такого приговора. Он обращался к судьям, как к победителям революционного движения 1905 года, и требовал от них и «суда победителей». Эту свою позицию он великолепно укрепил и, можно сказать, украсил цветами красноречия с самодовольством мастера своего дела.

Помимо жестокости, внутренняя фальшь этой «великолепной речи» была безмерна. Но она пришлась так по настроению судьям, что к концу ее подсудимые совсем притихли в ужасе перед своей судьбой. Когда она окончилась и был объявлен перерыв, они, бледные, осунувшиеся, с расширенными глазами, наперебой спрашивали у защитников, что им делать, т. е. что им говорить в своем последнем слове. Впечатление на скамьях защиты было тоже сильное. На лицах судей они прочли выражение успокоения и даже довольства. Все было копчено, и смертная казнь никого из судей уже не пугала и не волновала. Оставалось под вопросом только общее число казней, и кто именно из подсудимых будет поставлен под виселицу.

Вторым говорил помощник прокурора штабс-капитан Шевяков. Этот вел лобовую штыковую атаку посредством собирания фактических улик против отдельных подсудимых. Называя по очереди 131 фамилию, Шевяков едва ли мог соединить каждую из них с живым лицом, тут же сидевшим на скамье подсудимых и слушавшим его речь. В его глазах и уме они давно обратились в фамилии или номера; он часто так и говорил: «номер такой-то по списку обвинительного акта», начиная

абзац своей речи по записке о том или другом лице, и уже после этих слов произносил его фамилию.

Эта речь длилась семь часов с двумя перерывами, и слушать ее не было никакой возможности. Ее мерный треск отдавался в ушах, не доходя до сознания. Только когда он произносил фамилии, носившие их подсудимые и их защитники настораживались, стараясь уловить брошенные улики. Судьи же, к которым Шевяков обращался, пропускали их мимо ушей, просто потому, что никакое человеческое внимание, никакая память не могли их уловить и удержать хотя бы до приговора. Несмотря на это, Шевяков не терял энергии и работал на своей машине до конца, в полном убеждении, что его речь будет отмечена, как заслуга, которой нельзя не оценить, принимая во внимание 131 номер подсудимых и огромную продолжительность.

Хотя при всей тщательности и чиновничьей добросовестности штабс-капитан Шевяков против некоторых подсудимых не находил никаких улик, он все-таки не счел себя в праве отказываться от обвинения ни одного из них. Он даже не отказался по отношению ни к одному от 100-й и 279-й статей, признавая, что судебное следствие ничего не изменило. В обвинительным акте не было, с его точки зрения, ни преувеличений, ни ошибок. Наоборот, акт казался ему составленным слишком мягко, хотя автором был он сам.

Когда Шевяков закончил свою речь и суд объявил перерыв до следующего дня, подсудимые почувствовали острую безнадежность своего положения. Никаких средств борьбы собственно уже не оставалось, хотя по существу с самого дня первого ареста, три года назад, ими еще не было сказано громко, открыто ни одного слова в свое оправдание. Оставалось только кричать и вопить. Но в глухих стенах арестантских рот, за «девятью дубовыми дверями», крики и вопли были бы простым рефлексом без цели и смысла, так как при закрытых дверях, кроме судей, их могли слышать только стены церковного зала.

13 декабря с утра начались речи двенадцати защитников. Они с перерывами говорили до 17 декабря, т. е. четыре дня. При самых благоприятных условиях, при самых хороших слушателях, как бы ни были искусны и интересны ораторы, они не могут заставить слушать себя такой долгий срок, при условии, что не меняется тема. А здесь перед защитой в лице судей сидели люди, которые просто не желали их слушать. Лопатину слово, произносимое со скамьи защиты, казалось лишним, затягивающим заседание и мешающим правосудию. Он нервно

дергал свои усы и старался поймать какое-нибудь неосторожное выражение, чтобы оборвать защитника.

В лице судей защита имела перед собой слушателей с психологией, поставленной на голову: правда им казалась ложью. а достоверная ложь принималась за правду. И этих людей нужно было как-то убеждать в своих точках зрения на дело, незаметно для них захватывать с собой, вести и заставить совершить определенный акт — оправдать или более мягко отнестись к тому или иному подсудимому. Единственной общей почвой с судьями мог быть закон, и защитники требовали законности. Но судьи, приняв новую формулировку обвинения, еще в начале заседания отказались от законности в этом деле. Они рассуждали так же, как полковник Шредель в своем донесении: «Здесь защита формально, конечно, права, но не по существу; наше дело добиться настоящей, а не формальной правды».

Поэтому, когда двое защитников вновь очень горячо навалились на 100-ю и 279-ю статьи, исключение которых повело бы к устранению всякой возможности казней, Лопатин побагровел и при всей лояльности речи защиты начал сбивать защитников окриками, вроде:

— Это мы слышали.

— Переходите скорей к делу.

— Это мы знаем, нам этого не нужно.

— Суду известны все законы.

Когда же защита пробовала ссылаться на манифест 17 октября, то это действовало, как каленое железо.

И все-таки, несмотря ни на что, адвокаты продолжали борьбу за своих подзащитных, стараясь вытаскивать их на свободу.

И судьи, строевые полковники, менее предубежденные, чем Лопатин, не раз под натиском их логики сдавались. Случалось, что и сам Лопатин увлекался и слушал. Но это продолжалось недолго. Он вдруг спохватывался и, с досадой на себя, еще резче обрывал защитника, а тот, пробурчав в ответ: «Подчиняюсь», продолжал свою речь. И можно утверждать, что защита, строго пользуясь фактами и документами, с глубоким убеждением требовала для большинства оправдания и в то же время не уставала отвергать «висельные» статьи по отношению ко всем подсудимым.

И именно поэтому полковник Шредель писал в своем донесении, что «защита велась с поддельным пафосом, страдала отсутствием логики выводов, прибегала к передержкам фактов

и вообще старалась доказать отсутствие единства в действиях забастовщиков и отрицала наличность понятия о сообществе».

В действительности защита совершенно непререкаемо установила, что события носили стихийный характер и не были объединены общим руководством, несмотря на наличность боевых стачечных комитетов. В них все было плодом настроений каждого данного момента в каждом данном месте. А в общей своей совокупности они были результатом движения, охватившего тогда всю страну, а не продуктом злой воли подсудимых, с которыми расправлялись через три года.

Но вообще над этим процессом тяготели какие-то роковые случайности. Этот строгий общий тон защиты был вдруг нарушен следующим скверным случаем.

Один из защитников, молодой тогда помощник присяжного поверенного, обладавший большим внешним апломбом и значительным легкомыслием, очень уверенно и развязно отрицал улики против всех своих подзащитных, а в заключение выкинул такой трюк: он заявил, что его подзащитный Тарасенко прошел на суде такой тусклой фигурой, что обвинитель даже не нашел нужным упомянуть о нем. Иронизируя дальше над прокурором, он говорил, что этот пропуск со стороны обвинителя вполне понятен в виду многочисленности подсудимых, и кончил словами: «Я не сомневаюсь, господа судьи, что Тарасенко вы оправдаете».

Пока он говорил, Лопатин, прищурившись, ждал и дал ему кончить, а едва он замолчал и хотел сесть, как Лопатин сказал ему:

— Погодите.

Затем, обратившись к подсудимым, выкрикнул:

— Подсудимый Тарасенко, встаньте.

Но никто не отозвался и никто не встал со скамей подсудимых. Все застыли — судьи, прокуроры, адвокаты и подсудимые. Развязный же помощник присяжного поверенного стоял один, как будто ничего не случилось. Тогда Лопатин стал издеваться над ним. Сначала ровным голосом он отечески распекал молодого адвоката за то, что за шесть недель судебного следствия он не сделал ни одной попытки переговорить со своим, отсутствовавшим на суде, подзащитным, а потом сорвался, перешел на крик и кончил тем, что занес этот факт в протокол и постановил довести о нем до сведения совета присяжных поверенных для привлечения защитника к ответственности.

Для всей защиты этот случай был тяжким моральным ударом; для подсудимых он еще больше усилил трагичность поло-

жения, очень понизив все впечатление от речей защиты. Особенно торжествовал прокурор, а полковнику Шределю это дало повод написать департаменту полиции, что вообще «защита подсудимых была представлена довольно слабо... было замечено, что не все защитники отнеслись добросовестно к своей задаче; некоторые были плохо ознакомлены с материалом обвинения, наивно отрицая доказанные факты». И затем Шредель приводил описанный случай. Кроме этого помощника присяжного поверенного, тяжелую обязанность защиты несли на себе следующие лица: А. М. Александров, С. С. Анисимов (автор этой книги), М. Е. Булгаков, В. Г. Воронин, В. Г. Гальков, С. И. Гальперин, Д. Д. Данчич, Пав. Абр. Корецкий, Петр Анат. Корецкий, Н. Н. Коростовцев и А. Е. Пудер.

На несчастье, описанный случай произошел в конце защитительных речей, и говорившие вслед за тем адвокаты уже не могли рассеять невыгодное впечатление.

После прений подсудимые были уведены в тюрьму в самом подавленном настроении, под гнетом которого должны были готовиться к своему последнему слову.

IX

Утром 17 декабря подсудимые начали произносить свое «последнее слово». В этот день в толпе женщин и родственников, дежуривших на площади против арестантских рот с раннего утра, было особенно много бледных лиц, опухших от слез глаз. Все они вечером накануне побывали у защитников и знали, что надежды на оправдание близких им людей очень не велики, ибо защита, как перед началом дела, так и теперь, не скрывала положения ни от родственников, ни от самих подсудимых. Все надежды она возлагала на успех кассационных жалоб в главном военном суде и на ходатайства в высоких сферах.

С Лопатиным явно не было сладу. Он должен был разразиться смертным приговором. Считали только их возможное число, и думали, основываясь на слухах из судейских кругов, что их едва ли будет больше десяти.

Когда вдали показалась партия подсудимых под конвоем, женщины бросились к ней и кричали своим разные советы о том, что им говорить суду в последнем слове, но подсудимые в этот день отвечали им только взглядами. Никто из них ничего не кричал, все шли сосредоточенные и молчаливые. Только лязгали кандалы, шлепали копыта, и слышались крики стражников. Когда партия ушла в ворота, женщины остались

на площади еще более испуганные и оторопелые, чем во все предшествовавшие дни, едва сохраняя в себе надежду на оправдание своих близких.

Подсудимых ввели в зал и рассадили в порядке их списка в обвинительном акте. Многие почти не спали ночью, и их лица были особенно бледны. Некоторые из них не могли скрыть своей растерянности и неестественно, жалко улыбались.

Ровно в половине десятого началось заседание.

— Суд идет! — прокричал юношеским петушиным голосом подпоручик, дежурный офицер.

Лопатин с судьями подошел к красному столу торжественный и расправил свои пушистые усы. Усевшись, он поиграл плечами с эполетами и выдержал долгую паузу, обводя взглядом стены над головами подсудимых.

— Суд переходит к последнему слову подсудимых, — объявил он радостным и ясным голосом, как будто сообщал им приятную новость. Затем он опустил глаза в списки и начал выкликать:

— Подсудимый (такой-то), вам по закону принадлежит последнее слово. Говорите, что вы можете сказать в свое оправдание,—и он отвертывался к окнам и расправлял усы, желая показать этим, что все равно, что ни говори, он слушать не будет: ему и так все известно.

— Ну, что же вы молчите? — бросал он через минуту замешкавшемуся подсудимому и внимательно и любовно начинал снова рассматривать свои усы, как бы скучая в ожидании.

— Говорите же, наконец! Закон предоставляет вам право последнего слова, пользуйтесь им, — повышал голос нетерпеливый Лопатин.

Когда первый, вызванный таким образом, подсудимый двинулся было от скамьи к судейскому столу, Лопатин приказал ему оставаться на месте.

— Мы услышим вас и оттуда, — заявил он.

Подсудимый смутился, замялся, сказал несколько слов, неясных и неопределенных. Помолчал. Затем хотел было сказать что-то еще, но Лопатин не стал ждать, посадил его и вызвал следующего. И следующий подсудимый, и многие другие, по инстинктивному стремлению как-то выделить себя из общей массы 131 человека, сидевших на скамьях и загораживавших от суда друг друга, двигались было вперед к судейскому столу, но Лопатин упорно не хотел допускать такого беспорядка.

Очень редко кто из подсудимых говорил о своем положении

в деле, разбирал улики, приводил новые факты, отрицал виновность и просил оправдания. Многие просто заявляли, что они не революционеры, и искренно изумлялись, что прокурор считает их мятежниками.

— Это мы слышали и знаем; скажите что-нибудь новое,— язвительно отзывался на их реплики Лопатин, и если подсудимый молчал, то торопился посадить его и вызывал следующего.

Некоторые подсудимые в последний день судебного следствия представили суду одобрительные удостоверения от своего начальства, а некоторые имели даже письменные благодарности за охрану ими станции и грузов во время декабрьской забастовки, когда полицейская охрана отсутствовала.

Когда подсудимые в последнем слове ссылались на них, Лопатин заявлял:

— Вот за это-то мы вас и судим: сначала охраняли, а потом охрану обратили в боевую дружину.

И, срезанный такой репликой, подсудимый уже ничего не находил для своего последнего слова и покорно садился.

После нескольких таких опытов большинство уже не могло высказать перед судом в свою защиту того, что было продумано много раз за полтора месяца судебных заседаний.

Они вставали, недоумело глядели на Лопатина и пассивно заявляли:

— Не имею, — нет, не имею.

— Садитесь, — одобрительно кивал им головой Лопатин и как бы поощрял и следующих к такому же лаконизму и покорности. Когда подсудимые по очереди вставали так один за другим перед судьями, точно марионетки, судьи почти о каждом из них что-то отмечали в своих списках.

В таком тоне последнее слово подсудимых шло необычайно быстро, как по маслу. Лопатин был доволен, прояснел и громко выкликал по списку фамилии.

Приблизительно на сотом имени сорвался с задней скамьи опрометный мужчина с лохматой головой, подсудимый учитель Редькин. Послышалась возня, и по проходу между скамьями он моментально подлетел к судейскому столу. Судьи в испуге замерли в креслах, а у Лопатина застыли выпученные глаза. Его рука беспощадно теребила усы, и, к общему удивлению, привыкший к крику голос пропал. Минуты две стояла тишина. Сам Редькин тоже растерялся, но потом оправился и заговорил что-то простодушно, протодьяконским басом. И тотчас Лопатин дико закричал на него. Редькин замолчал, повернулся по-со-

датски налево кругом и пошел на место. Лопатин набросился на старшего конвойного и начал по-площадному ругать его и грозить рапортом по начальству. Конвойный мортал глазами и, вытянувшись, говорил: «Слушаюсь», пока председатель не отпустил его. Наконец все успокоилось, и Лопатин снова вызвал Редькина.

— Только, пожалуйста, оставайтесь на месте; мы не глухие.

Тот молчал.

— Ну, говорите же, говорите, мы вас слушаем, — требовал Лопатин.

— Не имею, — нет, не имею, — глухо отозвался Редькин и сел.

Положение этого подсудимого в деле было совсем незаметным. Он был учителем в селе Чернухине, соседнем с одноименной станцией, и никакой роли в движении не играл, кроме нескольких ораторских выступлений и обращений к крестьянам и разоружения урядника. Совсем неожиданно для всех Редькин получил смертный приговор, поводом к которому, вероятнее всего, послужило описанное выступление в суде, выделившее его перед судом из рядов других подсудимых. Суд судил не за дела или «деяния», а за склонность к революции, и оценил Редькина, как революционера, несмотря на все свидетельства о его лояльности.

Дальше «последнее слово» протекло ровно и гладко. Все говорили: «Не имею; нет, не имею».

Затем еще нечаянно выделился один из подсудимых, приземистый калужский мужик, ремонтный рабочий. Он был замечен всеми потому, что на третий день суда, в то время, когда все явившиеся на суд подсудимые уже жестоко жалели, что не послушались совета и не скрылись, вдруг почти силой прорвался сквозь охрану городовых и влетел в зал судебного заседания, держа под мышкой огромную красную подушку без наволочки и овчинный полушубок. Этот бородатый мужик основательно подготовился сидеть в тюрьме и убедительно просил суд извинить его за опоздание, ибо он не виноват: слишком поздно была получена повестка, а ехать пришлось очень издалека, да еще без денег, зайцем. Кондуктора же не хотели входить в положение и все высаживали его. И вот кое-как, где пешком, где на «дешевке», он едва добрался до суда и, как ни спешил, все-таки опоздал.

— Просю простить, — картавил он перед судом.

Лопатин тогда, в начале заседания, был умилен этим явлением: судьи же откровенно смеялись. И это был единственный

за весь процесс случай, когда элементарное человеческое чувство смеха на минуту объединило всех в этом зале. И этому наивному бородачу все симпатизировали, и всем казалось, что он будет оправдан, тем более, что против него не было никаких улик, кроме одного какого-то глухого показания жандарма о том, что он ездил с пикой в Горловку, будучи сильно выпивши.

Теперь, когда Лопатин вызвал его, этот бородач вдруг выскочил из-за скамей и бухнулся в ноги судьям с земным поклоном. Конвойные бросились и подняли его, а он стал что-то шептать и шевелить губами и опять упал на колени со словами:

— Просто простить [1] ...

На этот раз Лопатин ничуть не испугался, а только ядовито спросил:

— А пика у вас была, когда вы ездили в Горловку?

— Была, васе превосходительство.

И опять упал на колени, а потом встал и молча ушел на место.

Во всяком другом суде эта сцена могла возбудить только жалость и вызвать улыбку, но не у Лопатина. Здесь после нее стало еще страшнее.

Опять полились реплики подсудимых: «Не имею», или: «Нет, не имею».

Только те двенадцать, что впоследствии отказались от ходатайства о помиловании, и среди них те восемь, что потом были казнены, гордо заявили суду, что они не хотят защищаться или не признают этого суда.

Надо иметь в виду, что все они не хотели раздражать суд, чтобы не отягчать участи остальных подсудимых, добивавшихся оправдания, и поэтому отказались от произнесения демонстративных речей. Кроме того, при Лопатине произнести их было бы фактически невозможно.

Из остальных лишь инженер Данчич и врачи Шошников и Клингенберг произнесли более или менее спокойно и с большим достоинством целые речи в свое оправдание. В частности, доктор Шошников говорил очень умело и даже талантливо. Он отлично разобрал все собранные против него улики и развил, ничуть не унижаясь перед судьями, все доводы в свою защиту При этом всех поразило, что Лопатин и судьи терпеливо слушали его, и, надо думать, что только благодаря своему последнему слову он получил в приговоре всего четыре года каторж-

[1] Как писал в своем донесении полковник Шредель: «Увольте, господа правосудие».

ных работ, которые достались и инженеру Данчичу, занимавшему в деле аналогичное с ним положение. На них обоих и на оправданного доктора Клингенберга усиленно напирали, как на интеллигентов, оба прокурора, о них же со злобой писал в своем донесении полковник Шредель, что это «люди не только либеральной окраски, но и явно освободительного направления. очень ловкие, умеющие отводить глаза начальства и заводской администрации и в то же время руководившие революционным движением и организовавшие самооборону, дававшие на нее деньги и состоявшие членами забастовочного комитета в Горловке».

После их речей раздалось в зале еще несколько отзывов: «Не имею», или: «Нет, не имею», — и последнее слово подсудимых было быстро закончено.

Лопатин объявил, что суд удаляется для постановки приговоря. Это было 18 декабря, утром. Подсудимых обычным порядком увели в тюрьму, а судьи остались совещаться в помещении арестантских рот. Но прежде, чем успели увести подсудимых, они видели, как в помещение, куда удалялись судьи, вносили кровати для ночлега и, кстати, карточные столы для их развлечения «в антрактах» между совещаниями, которые длились до трех часов дня 19 декабря.

X

В тюрьме, в ожидании приговора, подсудимые томились почти два дня — с утра 18 декабря до сумерек 19-го.

Все течение процесса, особенно речи прокуроров и поведение Лопатина во время «последнего слова», убеждало их в том, что приговор будет жестокий. Защитники не утешали их и говорили, что от Лопатина и Курочкина ожидать человечности нельзя, остальные же судьи более или менее покорны им. Все расчеты они строили на том, что приговор будет смягчен при конфирмации или будет удовлетворена кассационная жалоба в главном военном суде, — словом, весь расчет был на петербургские сферы. Все надеялись, что казни не состоятся, и эта надежда очень поддерживала всех морально. Казалось, что и сам Лопатин, при той огласке, которую получило дело, все-таки не решится на простое огульное озорство в расправе с подсудимыми. Жила вера в человеческий разум, и думалось, что в этом деле не должно быть проявлено простое, животное, бессмысленное зверство, опасное самим победителям. В таком настроении прошел конец дня 18 декабря. Но ночью, когда все легли спать, почти никто из подсудимых заснуть не мог. Ночью

все надежды меркнут, а ужасы растут, и почти каждый из подсудимых спрашивал себя, неужели его могут казнить, повесить. И каждый чувствовал, что эти судьи действительно могут это сделать. И у тех, у кого эта мысль являлась впервые, холод пробегал по спине и удушье подкатывалось к горлу. Люди спрашивали себя: за что? Начинали более спокойно рассуждать и убеждались, что их казнить не за что; но все же всякое воспоминание о Лопатине приводило в отчаяние.

Самым страшным было то, что все надеялись на одно и то же, — на то, что судьи всех не обвинят и всех не повесят. и что в число тех, кого обвинят или повесят, попадут другие. Только те, что не сомневались, что будут осуждены, чувствовали себя ровнее и спокойнее.

Когда наступило утро, то за суетой обычной тюремной жизни всем стало легче. Умывались, ходили оправляться, пили долго чай, потом обедали и пили вечерний кипяток, а их все не требовали в суд. Ожидать не хватало терпения; последние часы этого дня, 19 декабря, тянулись длиннее, чем все сорок два дня процесса.

Судьи же провели эти дни совсем иначе. Более или менее равнодушные к судьбе подсудимых, они разбирали по списку фамилии в обвинительном акте и улики, записанные в разных местах на их листках. Они, конечно, не всегда могли вспомнить лица тех подсудимых, к которым относились их записи, но это их не очень волновало. Лопатин и Курочкин знали свое дело и вели его очень уверенно и просто. Если сопоставить, сколько приговорено было к повешению, сколько к каторге и сколько оправдано, то станет ясным, что они разрешили дело. как простейшую арифметическую задачу: из 131 человека они решили сначала приблизительно одну треть оправдать, одну треть приговорить к смертной казни и треть к разным срокам каторги. После такого решения задача судей очень упростилась: надо было только установить общие признаки, которые давали повод зачислить подсудимого в ту или другую категорию. Как были установлены эти признаки, видно из приведенного ниже рапорта Каульбарса и из справки, составленной для Столыпина, так как в основе обоих документов лежит, несомненно, доклад Лопатина.

Не вина суда, если среди сорока четырех лиц, приговоренных по статье 100-й, оказалось совершеннолетних тридцать два человека, которые и получили в приговоре смертную казнь, а двенадцать оказались имевшими возраст в декабре 1905 года от 17 до 21 года, к ним по 100-й статье никак нельзя было при-

менить казни через повешение, и пришлось назначить бессрочную каторгу.

Характерно в этом приговоре и распределение на категории: приговоренных к каторге на 8 лет — 6 человек, на 5 лет — 12 человек, и на 4 года — 25 человек. Ясно, что эти цифры получены умножением каждой предшествовавшей цифры на два.

Если результаты этих арифметических действий суда не совсем точны, — на один — два человека, — то это естественно, так как цифра 131 на три не делится, а затем нужно же было немного и замаскировать простоту и удобство этого приема.

Надо, однако, сказать, что Лопатин и Курочкин не были в этом случае оригинальными. Это был не редкий прием в массовых судебных процессах.

Обладая такой «соломоновой мудростью», судьи не слишком долго думали о приговоре, и у них, естественно, освободилось время для игры в винт, пока Лопатин должен был собственной рукой писать очень длинную резолюцию, уснащать ее статьями законов и заботиться о том, чтобы не сделать какой-нибудь ошибки в именах или фамилиях, в количестве лет каждого из подсудимых, и особенно о том, чтобы кого-нибудь не пропустить, как тот помощник присяжного поверенного, который не знал, что его подзащитный Тарасенко успел скрыться от суда.

Естественно также, что все судьи ночью спали в кроватях, принесенных им в помещение суда.

Под вечер 19 декабря подсудимых привели в суд обычным порядком, скованных попарно наручниками.

В помещении арестантских рот им пришлось прождать приговора еще около часа. Уже темнело, когда секретарь влетел к ним в камеру, соседнюю с церковным залом, и объявил, что все готово. Подсудимые вскочили с пола, на котором сидели. Конвойные заторопились вести их в зал заседания. Там горели висячие лампы-молнии, и две лампы стояли на единственном столе с красным сукном. Но света в общем было немного, и зал выглядел особенно мрачно. Подсудимых выстроили рядами, саженях в двух от судейского стола. Вошли защитники во фраках и столпились вправо от судейского стола. Быстро и твердо вошли прокуроры и, подняв головы, рассматривали потолок и карнизы. Явился суетливый секретарь и начал вместе с конвойными перестраивать по списку ряды подсудимых и отодвинул их подальше от судейского стола. Он проделал это очень быстро, переговариваясь с конвойными шопотом. Когда

секретарь кончил, все жутко стихло. Секретарь побежал докладывать, и все уперлись глазами в дверь, из которой должен был выйти суд, но он что-то медлил, и все в тишине слушали у себя в ушах и в висках удары от приливов крови.

— Суд идет!—возгласил сорвавшимся голосом вбежавший в залу молоденький дежурный офицер.

Тотчас шумно растворились двери, и в них показался Лопатин и за ним судьи. На минуту он замялся у дверей, потом решительно подошел к столу.

За сорок два дня процесса Лопатина видели, можно сказать, во всех видах. Но здесь он был новый, с воспаленными, горящими, бегающими глазами, напружившимися на лбу венами, с высоко поднятым в руке приговором. Он задыхался и громко набирал воздух в грудь... и вдруг, напрягшись изо всех сил, начал выкрикивать слова приговора смотровым голосом, как команду на параде. Этот неожиданный крик заставил всех вздрогнуть, затем все застыли, вслушиваясь в слова, которые выкрикивал с упоением исступления Лопатин. А он все громче и все решительнее кричал:

— По указу его императорского величества Одесский временный военно-окружной суд в Екатеринославе... под председательством военного судьи генерал-майора Лопатина, в составе... рассмотрев дело о подсудимых...—и дальше следовали имена 131 подсудимого, при выкрике которых по списку каждый из них вздрагивал и ловил слова, относящиеся к его участи, но их пока не было—это было только предисловие.

Наконец Лопатин опять набрал воздуху и, наддавши, прокричал:

— Признал виновными и приговорил к смертной казни...

И начал произносить имена и фамилии приговоренных людей. Это был список в 32 человека, и казалось, что Лопатин читал его безмерно долго. Каждый раз, как он выкрикивал новую фамилию, это был точно разрыв снаряда, каждый ждал, что в него попадут его осколки. Внешнее впечатление было таково, что мутилось сознание. А Лопатин все кричал и кричал. Подсудимые стояли перед ним в оцепенении, а потом вдруг трое из них, один за другим, грохнулись молча на пол в обмороке. Лопатин вздрогнул было, на секунду остановился, а затем, поняв, в чем дело, снова напряг силу своего голоса и продолжал выкрикивать фамилии других приговоренных к смертной казни.

Вероятно, этот список занял минут пять, не больше, но в

сознании слушавших его это происходило вне времени и было бесконечно и мучительно.

При всей подготовленности к жестокости со стороны Лопатина, никто такого огромного числа казней не ожидал. Это было просто беспримерно, непонятно.

Лопатин покосился из-за приговора на подсудимых и, по-видимому, был удовлетворен. Более ровным голосом, но, пожалуй, еще громче, он стал перекликать имена и фамилии 48 лиц, приговоренных в каторжные работы по 102 ст. Угол. улож., и вдруг у него перехватило дыхание, и он по-петушиному сорвался, и тотчас среди подсудимых кто-то точно залаял, захлебываясь в истерике. Тогда Лопатин, оправившись, снова стал выкрикивать список, и сразу еще два-три человека из подсудимых залились истерикой и заглушили его. Чтобы перекричать, он наддал еще в своем исступлении и докончил чтение приговора среди этих воплей. Только раза два он останавливался на минуту, мертвенно-бледный, дрожащий, и потом опять продолжал дочитывать список, а кругом раздавались вопли прорвавшихся наружу безмерных страданий. Оправданных оказалось 39 человек. Но большинство из них не верило своему счастью. Они стояли растерянные, ошеломленные, не зная, что делать. А трое упавших безжизненно лежали в обмороке. Лежал также на полу один из оправданных, молодой телеграфист, находившийся при смерти от чахотки. Он с помощью товарищей кое-как доплелся в суд, чтобы дело о нем по болезни не было выделено, но сцены объявления приговора не вынес и окончательно ослабел. Он умер в следующую или в одну из ближайших ночей.

Лопатин, подозвав старшего по конвою, строго требовал от него, чтобы тот прекратил беспорядок. Конвойный ответил: «Слушаюсь», но сделать, конечно, ничего не мог. Тогда Лопатин среди того же хаоса звуков сказал, что приговор в окончательной форме будет объявлен 30 декабря, в 12 часов дня, и вместе с судьями и прокурорами ушел в свое помещение с кроватями и карточными столами. Адвокаты бросились к осужденным, стараясь успокоить растерявшихся надеждами на смягчение и на кассационные жалобы. Конвойные солдаты стали выводить подсудимых в соседнюю камеру. Те не подчинялись, не слушали их, расспрашивая о своей судьбе защитников. Тогда солдаты, внезапно озлобившись, начали кричать, подражая Лопатину, и решительно вытеснять их из зала. На полу остались только чахоточный телеграфист и три человека, лежавшие в обмороке,—неподвижные и бледные, как мертвецы.

Над ними суетились защитники и старались влить им в рот хоть глоток воды. Какой-то конвойный прибежал с ведром и стал окатывать водою их головы. Но ни один из них не шевельнулся. Их тормошили, повертывали навзничь, расталкивали и растирали, но они долго не могли очнуться. Первым пришел в себя тот бородатый ремонтный рабочий, который наивно явился в суд с красной подушкой под мышкой. Он спокойно открыл глаза, но, увидав солдат, вдруг вскочил и неистово закричал: «За что? за что?» — дико блуждая из-под мокрых волос круглыми глазами. Затем он не то зарыдал, не то завыл. Солдат взял его под руку, стал успокаивать и вывел из зала. Второй обморочный был молоденький конторщик. Придя в сознание, он тихо заплакал и, спотыкаясь, как во сне, ушел из зала. Третьего обморочного, тоже юношу, пришлось вынести на воздух, взяв подмышки и за ноги. Вслед за ним вынесли в камеру к остальным подсудимым и обрадованного оправданием умиравшего телеграфиста.

Пока конвойные возились, сковывая попарно всех, и оправданных, и приговоренных, Лопатин, Курочкин, остальные судьи и прокуроры торопливо оделись и ушли. Во дворе арестантских рот они слышали из камеры подсудимых истерические вопли. Ни выпитая вода, ни смоченные ею головы—ничто не могло остановить их. Эти звуки невыносимых страданий лились сами собою и, вылетая наружу, доносились до толпы женщин и родственников, ожидавших у ворот. И в толпе тоже кто-то протяжно выл. У ворот Лопатин, судьи и прокуроры в нерешительности остановились, о чем-то поговорили, и Лопатин первый, гордо подняв голову и покрутив усы, решительно вышел навстречу толпе стонавших женщин, которых на этот раз не сдержала стража. Они еще не знали приговора и бросились к Лопатину. Он остановился, как будто совсем спокойный, и, подняв руку, дал знак, чтобы женщины стихли. И они тотчас смолкли. Судьи и помощники прокурора, пользуясь этим, протискались сквозь них и ушли, а Лопатин начал спрашивать фамилии. Женщины лезли друг на друга, называя себя. Он сдерживал их, успокаивал и говорил про осужденных на казнь, что они приговорены к каторге, а про всех остальных, что оправданы, и сразу, вместо стонов или тихих покорных слез, в толпе женщин пронеслись облегченные, радостные слова и вздохи. Лопатин провел с женщинами минут десять и затем спросил, все ли знают приговор, и получил утвердительный ответ и несколько неожиданных возгласов:

— Благодарим!

Он пообещал женщинам, что еще похлопочет за всех приговоренных при конфирмации приговора, и, выправившись по-военному и снова поправив свои усы, быстро пошел догонять судей.

Защитники задержались, обсуждая с осужденными вопрос о кассационных жалобах и ходатайствах. Когда они вышли, вся толпа родственников бросилась к ним, и тут она впервые узнала и почувствовала весь ужас приговора. Истерический женский визг, неудержимый и безумный, разнесся по Тюремной площади, вдруг разорвав тишину зимнего вечера. И здесь, на мостовой, слегка покрытой снегом, оказались обморочные женские фигуры. Над ними суетились родные и близкие, а конные городовые наседали на них и требовали, чтобы они ушли от ворот и пропустили партию осужденных. В глубине двора зажглись факелы. Подсудимых вывели, построили по четыре в ряд, окружили еще более плотной стражей и быстро повели. Когда они поровнялись с женщинами, то все кругом наполнилось безумными и страшными криками и воплями. Осужденные и оправданные шли вместе, рука об руку, сосредоточенные и молчаливые, как будто торопясь уйти от женских криков. Женщины рванулись было за партией, но конные городовые не пустили их. и они ушли, разнося свою боль по домам.

Часов в десять вечера всех оправданных выпустили из тюрьмы, а приговоренных к смерти заковали в ручные и ножные кандалы.

--

30 декабря осужденные были еще раз собраны в церковном зале арестантских рот, и Лопатин прочел им приговор в окончательной форме. Это был военно-судебный обряд, который никого не интересовал и не волновал. Сейчас же после него подсудимые подали Лопатину кассационные жалобы, заготовленные защитниками, а затем их всех отвели обратно в губернскую тюрьму.

Вечером 31 декабря в Екатеринославе, в помещении Английского клуба, происходил новогодний бал, и его открыл вальсом, в паре с молоденькой девушкой, лет шестнадцати, в белом бальном платье, тот же самый генерал-майор Лопатин, в тех же густых эполетах, в которых он фигурировал на суде [1].

---

[1] Описанный судебный процесс послужил для автора сюжетом рассказа «Приговор», в котором читатели могут найти в беллетристической форме более полное с психологической стороны освещение этого дела, но без документально точных подробностей. как в этой книге.

XI

Впечатление от приговора не только среди осужденных и их родственников, но и во всем городе было потрясающее и, надо сказать, совсем не то, на которое рассчитывали власти. Вместо страха и трепета, люди негодовали, ужаснувшись откровенной и безобразной жестокости приговора, в котором, в окончательном итоге, не оказалось и политического смысла.

Дело слушалось при закрытых дверях. Печать должна была молчать о нем, но она не молчала. Первой выступила местная газета «Южная Заря» со статьей под названием «Ужас», которая произвела свое действие.

Екатеринославский губернатор оштрафовал редактора газеты «Южная Заря» А. Я. Ефимовича на 300 рублей. Возбуждался вопрос о закрытии газеты. Однако дело было сделано, молчание нарушено. Появились заметки во всех столичных газетах, и волна негодования полилась по всей России.

Тотчас же в 3-й Думе был внесен запрос правительству, энергично поддержанный всей оппозицией и с.-д. Правые в лице Пуришкевича и Маркова 2-го подняли самый пошлый скандал, в обычном стиле этих думских таеров, вскрыв тем самым с полным обнажением и наглядностью внутренние мотивы этого акта правительственного террора. Вся оппозиция ушла из зала заседания, и хотя запрос был формально провален, правительство, так сказать, победило, но он возымел свое действие. Столыпин тотчас же послал шифрованную телеграмму в Одессу, командующему войсками барону Каульбарсу:

«Благоволите не отказать в предварительном сообщении ваших предположений по поводу приговора военного суда по рассмотренному в Екатеринославе делу о захвате революционерами Екатерининской ж. д.». На этой телеграмме стоит дата: «25/XII 1908 г. № 160».

Таким образом, в день самого праздника рождества Столыпин счел необходимым побеспокоиться об этом деле. Не получив ответа в течение четырех дней, он 29 декабря, за № 166. вновь послал шифрованную телеграмму—в Одессу, командующему войсками:

«Лично. По поводу окончательных мер взыскания по рассмотренному в Екатеринославе делу о захвате Екатерининской ж. д. считаю своим долгом сообщить вашему превосходительству, что его величество изволил неоднократно высказывать мнение о необходимости применения высшей репрессии лишь в случаях, когда наказание следует в непродолжительном вре-

мени за преступлением. В виду того, что после указанного выше революционного акта прошло до приговора три года, представлялось бы естественным ограничиться назначением высшей кары только лицам, уличенным по суду в самых тяжких преступлениях. Сообщая об этом, прошу телеграфировать о принятом вами решении».

В ответ он получил телеграмму:

«Екатерининское дело мне еще не доложено. Представлю мои заключения согласно с прежде полученными распоряжениями. 672. Барон Каульбарс».

По содержанию этих телеграмм, по их спешности, по нетерпению при неполучении в неприсутственные дни ответа на депешу, посланную в первый день рождества, совершенно очевидно, что Столыпина волновало впечатление, произведенное приговором в Петербурге. Однако от применения в этом деле смертной казни, как видно из самого текста телеграммы, он не хотел отказаться. Повидимому, он беспокоился только о том, что «прежде полученные от него распоряжения» поняты слишком широко. Столыпин хорошо знал приверженность барона Каульбарса к смертным казням и беспокоился не напрасно, но от своего плана отказаться ему не хотелось. На всякий случай, чтобы обеспечить себя, он сослался даже на «его величество», сделав это очень двусмысленно. Получив, наконец, 29 декабря, в первый присутственный день после праздников, ответную телеграмму Каульбарса, приведенную выше, он успокоился.

После объявления резолюции суд потратил несколько дней на то, чтобы изложить приговор в окончательной форме, и 30 декабря, в 12 часов дня, он был объявлен подсудимым; согласно закону, им был предоставлен суточный срок для подачи кассационной жалобы. Все осужденные воспользовались этим правом, и от имени всех была принесена кассационная жалоба в главный военный суд. От командующего войсками округа генерала Каульбарса зависело дать или не дать движение этим жалобам, т. е. отказать в праве кассации или переслать жалобу в главный военный суд.

В начале января Каульбарс телеграфировал Столыпину:

«На № 160 прошлого года по делу захвата революционерами Екатерининской ж. д. мною дано движение кассационной жалобе всех осужденных».

Получив это сообщение, Столыпин не только успокоился, но совсем забыл об этом деле—до того момента, когда его, уже в июле, побеспокоил сам Каульбарс, о чем речь будет ниже.

Вместе со Столыпиным, в первые дни после приговора большое беспокойство о деле обнаружила господствовавшая в 3-й Думе фракция октябристов. Запрос кадетов о приговоре был отклонен большинством их голосов вместе с правыми. Но глава октябристов М. В. Родзянко, председатель Думы и в то же время депутат от Екатеринославской губернии, и другой екатеринославский депутат, П. В. Каменский, прекрасно знали всю обстановку дела. Многие из подсудимых были им лично известны. Провалив запрос из-за нежелания дискредитировать правительство и лишиться его расположения, они стали хлопотать во влиятельных сферах об облегчении участии осужденных. По их настоянию, телеграмма с ходатайством о помиловании была спешно доложена Николаю II, и в день нового года он положил резолюцию: «Даровать жизнь, смягчить участь». Потом вслед за пропуском кассационной жалобы в главный военный суд они подали Столыпину нижеследующую докладную записку:

«По делу о захвате в декабре 1905 года Екатерининской железной дороги временным военным судом в Екатеринославе обвинено 92 человека, при чем 32 приговорены к смертной казни, а 60 в каторжные работы на разные сроки.

«Чрезвычайно неблагоприятные общие условия судебного процесса, длившегося полтора месяца, обилие материалов, заключавшихся в тридцати томах следственного производства, и свыше тысячи допрошенных на суде свидетелей, разбросанность событий, подлежавших обследованию суда, по отдельным станциям и группам лиц, ничем между собою не связанных, и, наконец, самое ведение дела через три года, когда большинство свидетелей перезабыло подробности событий декабря 1905 года, не дало возможности суду вынести приговор, отвечающий справедливости и действительной виновности отдельных лиц.

«По имеющимся у нас сведениям, некоторые из обвиненных вовсе не виноваты; другим назначено наказание, совершенно не соответствующее их виновности. Полагая, что ошибки суда несомненно будут исправлены главным военным судом при рассмотрении кассационных жалоб и в порядке уже дарованной подсудимым высочайшей милости, мы находим, что судьба значительной группы лиц, содержащихся в настоящее время в Екатеринославской тюрьме, может и должна быть облегчена немедленным изменением принятой меры пресечения и освобождения их под залог или на поруки до разрешения главным

военным судом кассационной жалобы и определения размеров высочайше дарованного смягчения.

«По закону, изменение меры пресечения зависит от Одесского военного суда; однако, после того, как все дело поступило на рассмотрение в Петербург и состоялась высочайшая резолюция о смягчении участи осужденных, на просьбы родственников, обращенные к председателю суда, им было объявлено, что суд теперь не предпримет без указаний из Петербурга никаких шагов по екатеринославскому делу, хотя и признает возможным и допустимым по отношению к некоторым изменение принятой меры пресечения на более легкую.

«Представляя при сем список лиц, по отношению к которым обвинительный приговор менее всего отвечает справедливости и действительной виновности, мы ходатайствуем о немедленном освобождении их с отдачей под надзор полиции, под залог или поручительство».

Подписали эту записку: члены Государственной Думы М. В. Родзянко и П. В. Каменский.

К этой записке был приложен очень большой список осужденных; он заключал в себе фамилии тридцати подсудимых, которых они лично знали, или относительно которых имели сведения от лиц, пользовавшихся их доверием. Обо всех этих тридцати осужденных Родзянко и Каменский хлопотали в министерстве внутренних дел, в главном военном суде и перед Одесским военно-окружным судом, прося немедленно их освободить под залог или на поруки «до разрешения главным военным судом кассационной жалобы». Конечно, не надо и упоминать, что в этом списке не было всех тех, кто отказался ходатайствовать о помиловании, в том числе не было, значит, никого из тех восьми, которые были потом казнены.

В результате этой записки товарищ министра внутренних дел Курлов 20 февраля 1909 года, за № 102.617, обратился к председателю главного военного суда барону Остен-Сакену со следующим конфиденциальным письмом, приложив к нему записку Родзянко и Каменского:

«Имею честь препроводить при сем на распоряжение вашего превосходительства записку членов Государственной Думы М. В. Родзянко и П. В. Каменского. Полагаю, что судьба указанных в приложениях к означенной записке лиц из числа осужденных по поступившему ныне на рассмотрение главного военного суда делу о захвате революционерами в декабре 1905 года Екатерининской железной дороги должна быть облегчена немедленным изменением принятой против них меры

пресечения». Дальше следовал список девяти лиц, которых Курлов считал возможным немедленно освободить из-под стражи.

В результате этих хлопот несколько отдельных лиц из числа приговоренных к каторге были освобождены под залог в несколько тысяч рублей. Вообще же на участи подсудимых все эти закулисные хлопоты Родзянко и Каменского мало отразились: только все успокоились в виду высказанного ими убеждения, что по этому делу никто казнен не будет. Дело было переслано в главный военный суд и там выдерживалось несколько месяцев, пока не улеглось впечатление от приговора и делом никто не стал интересоваться, за исключением осужденных и их родственников. Вопреки обычной практике, по которой кассационные жалобы в главном военном суде по делам, рассматривавшимся по законам военного времени, разрешались в течение нескольких дней, а в редких случаях в течение нескольких недель, это дело покоилось в канцелярии главного военного суда в Петербурге до самого наступления думских каникул, т. е. того глухого летнего времени, когда к этому забытому делу не было никакой возможности привлечь внимание высоких и влиятельных сфер. На все справки родственников в главном военном суде отвечали, что никому не известно, когда кассационная жалоба будет рассмотрена.

Наконец, совершенно неожиданно, 28 мая главный военный суд рассмотрел кассационные жалобы осужденных и оставил их без последствий и тотчас же отослал дело барону Каульбарсу для конфирмации приговора.

Все это было сделано так, что немногие из подсудимых узнали об отказе в кассационной жалобе. Официальных объявлений им послано не было. Адвокаты, поддерживавшие жалобы в главном военном суде, сообщили своим коллегам, екатеринославским адвокатам, по поручению которых выступали, но из тех в летнее время многих не было в городе. В заключение стало известно подсудимым, что приговор пошел на конфирмацию командующего войсками, и что проект конфирмации будет доложен Столыпину, который обещал Каменскому и Родзянко, что казней по этому делу не будет. Поэтому отказ главного военного суда в жалобе не произвел впечатления ни на кого, не исключая присужденных к казни, так как от главного военного суда другого результата никто не ожидал.

А в это время в судьбах приговора произошло следующее.

2 июня дело поступило к барону Каульбарсу, при отношении главного военного суда, в котором было предложено «уве-

домить об его конфирмации относительно всех осужденных по делу». Каульбарс потребовал, чтобы ему в помощь был командирован из Москвы генерал Лопатин, который к этому моменту в виде повышения был переведен в Московский военно-окружной суд. Таким образом, «даровать жизнь и смягчить участь», согласно высочайшей резолюции, должны были те самые люди, по воле которых весь этот процесс был обращен в сплошной ужас. Как Лопатин и Каульбарс пересматривали дело, неизвестно, об этом надо судить главным образом по фигурам самого Каульбарса и его докладчика Лопатина, да еще по одному документу, а именно—по рапорту Каульбарса на имя военного министра, посланному в ответ на телеграмму с запросом о казни. В этом рапорте Каульбарс писал, что сущность доклада Лопатина сводилась как к объективному уяснению существа настоящего дела, так и к определению чисто индивидуальных особенностей каждого осужденного, степени участия в деле, поведения на суде и в тюрьме и степени искренности выраженного им раскаяния.

Таким образом, Лопатин и Каульбарс возились с этим делом до конца июня. Затем 8 июля 1909 года к Столыпину поступили предположения Каульбарса о конфирмации, согласно телеграмме Столыпина, посланной им еще 25 декабря 1908 года, за № 160.

«Секретно. Министру внутренних дел. Препровождая при сем список осужденных по делу о вооруженном восстании на линии Екатерининской ж. д. в 1905 году, сообщаю вашему высокопревосходительству, что я предлагаю назначить каждому из них наказание, как указано в списке. Подобный же список вместе с сим представляю военному министру, вследствие отзыва главного военно-судебного управления от 2 июня с. г., за № 7648. Приложение: список. Командующий войсками генерал-от кавалерии б а р о н К а у л ь б а р с».

На этой телеграмме имеется резолюция Столыпина:

«Срочно. Составить доклад о приговоренных к смертной казни».

По этой резолюции директор департамента полиции составил следующий доклад:

«Из сопоставления предположений командующего войсками с имеющимися сведениями о виновности осужденных можно вывести заключение:

1) что ссылка в бессрочную каторгу предположена для тех осужденных, которые принимали непосредственное активное участие в убийствах или стреляли в войска;

2) что каторга на 20 лет назначается для тех лиц, которые принадлежа к революционным боевым дружинам, участвовали в их выступлениях, но в совершении убийств не уличались, и

3) что ссылка на каторгу на 15 лет предполагается для тех членов боевых дружин, которые особенно деятельного участия в вооруженных выступлениях революционеров не принимали.

«Право командующего войсками при замене смертной казни назначить другое наказание, на основании ст. 95 Воинск. уст. о наказ., сила и пространство действия конфирмации приравниваются к высочайшему повелению и поэтому не подлежат законному ограничению.

«По полученным из главного военно-судебного управления сведениям, 31 декабря 1908 года и 9 января 1909 года последовали высочайшие повеления о том, чтобы была дарована жизнь и облегчение участи восьмидесяти осужденным, которые подали всеподданнейшее прошение о помиловании. К числу этих лиц принадлежат те двадцать четыре осужденных к смертной казни, которым командующий войсками ныне предполагает заменить это наказание каторжными работами на разные сроки.

«Те же восемь осужденных к смертной казни, в отношении коих командующий войсками предполагает приговор утвердить, не обращались к милосердию монарха.

«Приговор по настоящему делу состоялся в декабре 1908 года. Затем по кассационным жалобам осужденных дело было передано в главный военный суд, коим в настоящее время жалобы эти оставлены без последствий, почему ныне приговор и обращен к конфирмации.

«Главное военно-судебное управление, в которое командующий войсками Одесского округа представил список, аналогичный с поступившим в министерство внутренних дел 16-го сего июля, по приказанию военного министра, просило барона Каульбарса сообщить об окончательной конфирмации приговора, но ответа еще не поступало.

29 июля 1909 года».

Таким образом, в этом докладе Столыпину директор департамента совершенно ясно указал, что командующий войсками предполагает утвердить смертный приговор в отношении тех восьми осужденных, которые не обращались с ходатайствами о помиловании. Кроме того, если бы Столыпин пожелал заглянуть в список, приложенный к предположениям Каульбарса, он сам увидел бы из него то же самое, что доложил ему дирек-

тор департамента. Мало того, что к докладу, приведенному выше, была еще приложена справка для Столыпина со списком всех осужденных, в которой было сказано еще раз:

«Не обращались тогда к милосердию монарха двенадцать осужденных. Из них восемь приговорены к смертной казни, и по отношению к ним приговор вошел в законную силу, а именно:

1. Митусов Илья; 2. Григорашенко Василий; 3. Зубарев Александр, он же Марк Кузнецов; 4. Ткаченко-Петренко Григорий; 5. Щербаков Андрей; 6. Ващаев Андрей; 7. Шмуйлович Владимир; 8. Бабич Петр».

При каждой из этих фамилий сообщались для Столыпина сведения о том, в чем каждый из них виновен.

Замечательно, что этот доклад и справка к нему директора департамента полиции помечены датой 29 июля 1909 года, составлены же они, как указано, на основании резолюции самого Столыпина на представление Каульбарса, помеченной 15 июля: однако, не ожидая этого доклада, Столыпин телеграфировал 19 июля в Одессу командующему войсками:

«Не встречаю препятствий к замене смертной казни указанным в списке лицам в предположенном размере. № 1872. Министр внутренних дел статс-секретарь С т о л ы п и н. 19 июля 1909 года».

Итак, волею Столыпина, прежде всего, был поставлен весь этот дикий процесс, а затем судьба подсудимых отдана в распоряжение Каульбарса и Лопатина, которые не умели, да и не хотели сдерживать своей злобы к революционерам. И в то же время Столыпин посылал запросы и телеграммы Каульбарсу, приказывал докладывать ему предположения о конфирмации, ссылаясь на высочайшую волю, и даже создал миф, что «его величество изволил неоднократно высказывать мнение о необходимости применения высшей репрессии лишь в случаях, когда наказание следует в непродолжительном времени за преступлением». Он же возмущался перед Родзянко и Каменским нелепой жестокостью приговора, обещал им, что казней по этому делу не будет, и достиг того, что они, поверив ему, сообщили свое убеждение всем заинтересованным в деле—и самим осужденным, и их родственникам.

А в заключение, когда Каульбарс доложил Столыпину проект конфирмации, тот телеграфировал ему свое согласие. Но этим роль Столыпина еще не кончилась. 5 сентября член Государственной Думы Каменский со ст. Желанной, т. е. из глубокой провинции, где спокойно отдыхал, полагая, что все

сделано для предотвращения казней по этому делу, послал ему телеграмму следующего содержания:

«По делу захвата Екатерининской ж. д. в 1905 году воспоследовало высочайшее повеление жизнь даровать. Родственники осужденных извещают, что утверждено восемь смертных приговоров. Молят пощады. Член Государственной Думы Каменский».

На этой телеграмме резолюция Курлова:

«Срочно. Директору департамента полиции. Снестись скорее с главным прокурором, нет ли ошибки».

А сам Столыпин 6 сентября, за № 539, телеграфировал в Одессу Каульбарсу:

«Благоволите телеграфировать, конфирмован ли вами приговор по делу захвата Екатерининской железной дороги, и, в утвердительном случае, имели ли место какие-либо особые обстоятельства, усугубляющие вину приговоренных к смертной казни восьми лиц, или же конфирмация последовала только за необращением их с ходатайством о помиловании. В виду посланной вашему высокопревосходительству военным министром телеграммы о приостановлении приведения приговора в исполнение. не предполагаете ли вы войти с представлением об облегчении участи осужденных».

В ответ на эту телеграмму он получил на другой день следующее сообщение:

«Приговор об осужденных по екатеринославскому делу конфирмован командующим войсками 30 июля, согласно предположениям, изложенным в отзыве вашему высокопревосходительству 8 июля, № 1052, по получении телеграммы вашей от 19 июля, № 1872. Об окончательной конфирмации телеграфировано главному военному прокурору 30 июля, за № 1149. 28 августа утвержденный приговор военным прокурором обращен к исполнению. 6 сентября, вследствие телеграммы военного министра, телеграфировано прокурору екатеринославского суда и губернатору о приостановлении приговора над восемью осужденными к смертной казни. Что касается сведений по вопросу об облегчении участи их, то таковые могут быть даны лишь по возвращении командующего войсками из Ливадии, каковое ожидается на-днях. 12646. Помощник командующего войсками генерал-от-артиллерии фан-дер-Флит.

А 8 сентября тот же фан-дер-Флит телеграфировал Столыпину:

«Екатеринославский губернатор сообщает, что приговор приведен в исполнение 4 сентября».

Столыпин положил резолюцию: «Деп. пол. Опять такая торопливость», и потребовал справку. Ему сообщили следующее:

«По делу о вооруженном восстании в декабре 1905 года на линии Екатерининской железной дороги 8 июля 1909 года, № 1052, командующим войсками Одесского военного округа представлен список осужденных девяноста двух лиц, с предположениями о смягчении, согласно высочайшему повелению, определенного им судом наказания, присовокупив, что смертная казнь оставлена тем, которые не подали прошений на высочайшее имя».

На докладе по этому поводу последовала резолюция министра:

«На замену согласен. Разобраться более подробно, правильно ли командующим намечена градация на каторгу: без срока. на двадцать и на пятнадцать лет».

Во исполнение этой резолюции от 19 июля 1909 года, за № 1872, командующему войсками была послана телеграмма следующего содержания:

«Не встречаю препятствий к замене смертной казни указанным в списке лицам в предположенном размере. 8 сентября 1909 года».

Одновременно Столыпин запросил военного министра, которым состоял тогда Сухомлинов, и того же 8 сентября он получил ответ в виде письма, в котором тот сообщал «милостивому государю Петру Аркадьевичу», что еще в декабре 1908 года 73 осужденных по этому делу обратились со всеподданнейшей телеграммой о помиловании, на которой его императорскому величеству 31 декабря благоугодно было собственноручно начертать: «Даровать им жизнь и облегчение участи». Затем в январе 1909 года еще семь человек из числа осужденных обратились со всеподданнейшей просьбой о помиловании и о смягчении их участи. На всеподданнейшем докладе с изложением этой просьбы его императорское величество 9 января собственноручно начертать изволил: «Согласен на помилование и облегчение участи».

Дальше в этом письме передается история кассационной жалобы, оставленной без последствий, история сношений самого Столыпина с Каульбарсом, а в заключение значится:

«Вследствие выраженного мне вашим высокопревосходительством от 6-го сего сентября желания приостановить приведение в исполнение приговора над восемью лицами, осужденными к казни, приговор о которых конфирмован без изменения, в виду отсутствия их прошений, мною того же 6 сентября

была послана срочная телеграмма командующему войсками Одесского военного округа с предложением приостановить исполнение приговора. На эту телеграмму я сего числа получил от помощника командующего войсками Одесского военного округа генерала-от-артиллерии фан-дер-Флита извещение, что приговор над этими осужденными 4 сентября приведен уже в исполнение. О вышеизложенном считаю долгом довести до вашего сведения. С у х о м л и н о в».

XII

Кроме приведенного письма, Сухомлинов послал телеграфный запрос Каульбарсу, и в ответ на него получил секретный рапорт от 10 сентября 1909 года. Каульбарс сообщал ему всю известную читателю историю приговора и рассказывал о методе, которым он вместе с генералом Лопатиным пользовался при конфирмации приговора.

«В основу конфирмации,—писал Каульбарс,—прежде всего вошла ясно выраженная воля его императорского величества государя императора, всемилостивейше даровавшего жизнь и облегчение участи тем восьмидесяти осужденным, кои, принося свое раскаяние, обратились к путям монаршего милосердия».

Этим Каульбарс еще раз подтверждает, что Митусов, Григоращенко, Зубарев-Кузнецов, Ткаченко-Петренко, Щербаков. Ващаев, Шмуйлович и Бабич были действительно казнены только в виду отсутствия их прошений, как полагал Столыпин и писал Сухомлинов.

В заключение Каульбарс сообщал следующее:

«Принимая во внимание, что к 30 июля все установленные сношения по этому делу были закончены, при чем указанные мною предположения никаким изменениям подвергнуты не были, того же числа приговор был мною конфирмован во всем согласно предположениям.

«Тем не менее, в виду большой огласки, которую это дело приобрело, и значения, которое ему придавалось, а также предполагая, что из числа восьми человек, в отношении коих мною был утвержден смертный приговор, хотя некоторые и не заслуживали, я в течение еще 28 дней воздерживался от обращения приговора к исполнению.

«25 августа сего года мною было получено письмо екатеринославского губернатора, за № 1119, в копии при сем прилагаемое, в коем названный губернатор ходатайствует о шестидесяти восьми осужденных по настоящему делу и, вместе с сим,

просит о скорейшем разрешении дела о восьми осужденных, упорно отказавшихся от обращения к путям монаршего милосердия.

«Последнее обстоятельство убедило меня в бесцельности дальнейшей задержки дела, утвердив в ранее принятом, в отношении этих восьми человек, решении, и я приказал приговор по настоящему делу, в полном объеме, обратить к исполнению. что и было исполнено военным прокурором 28 августа.

«6 сентября, вследствие телеграммы вашего высокопревосходительства от того же числа, за № 11748, было телеграфировано прокурору Екатеринославского окружного суда и губернатору приостановить исполнение смертного приговора над восемью осужденными к казни, но распоряжение это явилось запоздавшим, ибо смертный приговор над ними был приведен в исполнение в ночь на 4 сентября сего года, о чем и было донесено вашему высокопревосходительству и министру внутренних дел телеграммами от 7 сентября сего года, за №№ 12594 и 12593.

«Засим, в виду телеграммы министра внутренних дел от 6 сентября сего года, за № 539, в коей его высокопревосходительство спрашивал, не предполагал ли я войти с ходатайством об облегчении участи восьми, смертный приговор о коих был мною утвержден, и не руководился ли я в своей конфирмации лишь тем соображением, что упомянутые осужденные не обратились к путям монаршего милосердия, я долгом почитаю доложить, что, руководствуясь общим опытом революционного прошлого вверенного мне округа вообще и Екатеринославской губернии в частности, принимая во внимание чрезвычайную дерзость преступления, опасность прецедента и каких бы то ни было послаблений в отношении лиц, непосредственно посягнувших на пути сообщения и войска, а также считая, что в лице восьми казненных правительству приходилось иметь дело с интеллектуальными руководителями и работниками революции, я с полным убеждением докладываю, что упомянутые осужденные ни в коем случае не заслуживали какого бы то ни было смягчения их участи, в силу чего я, считаясь с государственной необходимостью, постановил о них свою конфирмацию.

«Вышеизложенное вместе с тем в копии сообщено и министру внутренних дел».

Каульбарс, конечно, был прав по отношению к Столыпину. Никаких возражений с его стороны проект конфирмации не встретил. Проект был драконовский. Столыпин это видел и понимал. Кроме того, департамент полиции составил для него

еще особую справку о всех восьми, подлежавших казни. Столыпин согласился на их казнь, конечно, не по недосмотру, а потому, что сам был инициатором этого террористического акта и первым мастером по части «битья стекол». В данном случае он с убеждением следовал общему правилу своей политики. Вся переписка, поднятая им после телеграммы Каменского, объясняется, повидимому, только тем, что еще в январе, когда было свежо впечатление приговора и чувствовалось общее негодование, он обещал Родзянко и Каменскому, что смертных казней в этом деле не будет. Поэтому после казней нужно было сделать вид, что он в них ни при чем,— это торопливость каких-то провинциальных властей, и больше ничего.

Получив приведенный выше рапорт Каульбарса, Столыпин и Сухомлинов вполне им удовлетворились. Все оказалось правильным, и все остались на своих местах, а Лопатин и Курочкин получили в награду движение по службе.

XIII

Еще до начала судебных заседаний по делу тюремная администрация приняла в нем горячее участие. Все восемь казненных долго сидели в Екатеринославской тюрьме до суда. Их она, несомненно, по-своему изучила и оценила. Старший тюремный надзиратель Белокоз (впоследствии умерший от сыпного тифа) прозвал их «орлами». Это был специалист по части избиения заключенных. Высокий, стройный блондин, с правильным лицом и какими-то бесцветными, недвигавшимися глазами, Белокоз обычно принимал все прибывавшие в Екатеринославскую тюрьму этапы, опрашивал всех, за что арестованы. и некоторых отбирал и пропускал «сквозь строй», по тюремному выражению, т. е. командовал окружавшим его надзирателям: «Взять его»; указанного им утаскивали в соседнее тюремное помещение и там избивали. Часто тут же, под тюремными воротами, где происходил прием партий, Белокоз распоряжался отправить того или другого из вновь прибывших арестантов в темный карцер. Вот этот-то Белокоз определил их, как «орлов», т. е. людей, с которыми нет сладу, и, конечно, его определение стало известно суду. С первого же дня к ним ясно установилось отношение Лопатина, с оттенком уважения и страха. Особенно Ткаченко-Петренко и Зубарева-Кузнецова он ненавидел и боялся. Повидимому, Лопатину казалось, что даже на самом суде не исключена возможность покушения на него со стороны подсудимых. Никто другой, кроме тюремной адми.

нистрации или губернатора, этого отношения к ним Лопатину еще до суда внушить не мог. А у них были к тому полные основания. Недаром екатеринославский губернатор просил в приведенном выше письме к Каульбарсу разрешить поскорее их судьбу. Когда 6 декабря 1908 года, т. е. еще недели за две до приговора, заключенные служили в тюрьме, в присутствии губернатора и Лопатина, молебен и посылали телеграмму с поздравлением на высочайшее имя, то среди них не только произошел непримиримый раскол, но были даже драки. Эту тяжелую историю с молебном начала очень небольшая кучка подсудимых, спровоцированная той же администрацией. Для Лопатина и суда этот молебен и подпись под телеграммой должны были служить очень простым и ясным способом отбора и разделения подсудимых на овец и козлищ. Вполне понятно поэтому, почему он сам счел необходимым присутствовать на молебне. Независимо от положения в деле, хотя бы оно было самым незаметным и случайным, всякий неподписавшийся на телеграмме должен был знать, что он будет приговорен к смертной казни, если только не был несовершеннолетним; так впоследствии и случилось. Моральное испытание было ужасное. Большинство подсудимых хотя и решились на этот шаг, все-таки относились к нему с отвращением. Когда он готовился, они метались в тоске, не зная, что делать. По камерам ходил с ведома тюремной администрации подписной лист, на котором собирались подписи желавших послать поздравительную телеграмму. Вот с этими-то сборщиками и произошла драка. После нее двенадцать человек, в том числе все восемь впоследствии казненных, были посажены в две башни (8-ю и 9-ю), в которых их разместили по шесть человек. Все это было известно во всех подробностях Лопатину, и на другой же день это событие открыто обсуждалось в коридорах суда и в буфете. Тюремные «орлы» стали «орлами» и в глазах суда. Участь всех этих двенадцати человек была уже бесповоротно решена. Четверо из них не попали на виселицу, как уже сказано, только потому, что в декабре 1905 года, когда происходили события, вменяемые им в вину, они имели возраст от семнадцати до двадцати одного года.

Всех отказавшихся даже при таких обстоятельствах подписать телеграмму было не двенадцать, а девятнадцать человек, но остальные семь уже после приговора и после помилования тех, которые подавали телеграмму, не устояли и присоединились к ходатайству о помиловании.

После объявления приговора все двенадцать были закова-

ны в ножные и ручные кандалы, и с этого момента тюремная администрация их выделила в совершенно особую группу. Зная их, она их не трогала, так как боялась, что всякое происшествие с ними получит широкую огласку. Кроме того, трогать было рискованно и персонально для надзирателей; так, например, с Петром Бабичем был такой случай: один надзиратель, из вновь нанятых, как-то ударил его; Бабич тут же накинул ему на шею свои ручные кандалы и начал душить, и, если бы не подоспела помощь, надзиратель, наверное, погиб бы. Такая решительность, как известно, всегда вызывает в тюрьме вежливое и опасливое отношение, и потому тюремная администрация старалась их не трогать; но она понимала, что эти люди внушают непокорный дух всей остальной тюрьме. При всяких тюремных эксцессах и голодовках они становятся во главе движения. И, как ни старались их изолировать, они сильно влияли на весь склад тюремной жизни, внося в него свой мятежный дух.

По вынесении смертных приговоров, обыкновенно в течение восьми—десяти дней, пока шли сношения с командующим войсками, все кончалось. Людей или вешали, или объявляли о замене смертной казни каторгой, но здесь прошли не дни, а недели и месяцы, и осужденных никто не трогал. Им только советовали присоединиться к прошению на высочайшее имя, и каждый раз встречали негодующие протесты. Обещание, данное Столыпиным, что никто не будет казнен по этому делу, было известно всем. По хлопотам адвокатов и родственников все двенадцать были переведены из смертных подвальных камер представлявших клетки, шагов шести в длину, со сводчатым потолком и грязными сырыми стенами, без коек, столов и скамеек. Их поместили снова в тюремные башни. Этот перевод обрадовал всю тюрьму. Сами осужденные с этого момента тоже убедились, что смертная казнь им заменена каторгой, и со дня на день ожидали официального сообщения об этой замене. При таких обстоятельствах сама тюремная администрация уверовала в то, что казни не будет. Но самих приговоренных неизвестность мучила. Эта же неопределенность очень беспокоила, только по-другому, и тюремное губернское начальство. Как-никак, но от «орлов» необходимо было избавиться. Надо было или разослать их по каторжным тюрьмам, или покончить с ними. Этим объясняется письмо екатеринославского губернатора Каульбарсу, в ответ на которое последний поспешил обратить приговор к исполнению.

XIV

Самая казнь была совершена в ночь с 3-го на 4 сентября на балках пожарного сарая 4-й полицейской части, где ее обычно совершали в те годы в Екатеринославе. В конторе тюрьмы, в ожидании прокурора, врача и священника, осужденным позволили написать письма родным. Из этих писем в нашем распоряжении, к сожалению, имеется только одно—Ткаченко-Петренко, так как оно каким-то путем попало, в копии, в дело департамента полиции.

Вот это замечательное письмо [1].

«Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша, и все остальные братья рабочие и друзья.

«Шлю вам свой искренний и последний поцелуй. Я пишу сейчас возле эшафота, и через минуту меня повесят за дорогое для нас дело. Я рад, что я не дождался противных для меня слов от врага... и иду на эшафот гордой поступью, бодро и смело смотрю прямо в глаза своей смерти, и смерть меня не сможет страшить, потому что я, как социалист и революционер, знал, что меня за отстаивание наших классовых интересов по головке не погладят, и я умел вести борьбу и, как видите, умею и помирать за наше общее дело так, как подобает честному человеку. Поцелуй за меня крепко моих родителей, и прошу вас, любите их так, как и я люблю своих братьев рабочих и свою идею, за которую все отдал, что мог. Я по убеждению социал-демократ, и ничуть не отступил от своего убеждения, ни на один шаг до самой кончины своей жизни. Нас сейчас возле эшафота восемь человек по одному делу—бодро все держатся. Постарайся от родителей скрыть, что я казнен, ибо это известие после такой долгой разлуки с ними их совсем убьет.

«Дорогой Алеша, ты также не беспокойся и не волнуйся. Представь себе, что ничего особого не случилось со мной, ибо это только может расшатать твои последние силы. Ведь все равно когда-либо помирать надо. Сегодня, 3 сентября, в 8 часов вечера, зашли к нам в камеру куча надзирателей, схватили меня за руки, заковали руки, потом выводили остальных: забрали под руки и повели в ночном белье, босых под ворота, где человек пятьдесят стояло стражи с обнаженными шашками, забрали и повели в 4-й участок, где приготовлена была петля, и так это смешно, как эта стража с каким-то удручающим ужа-

---

[1] Письмо это впервые опубликовано в издании «Екатеринославского Истпарта»—материалы за 1904—1906 годы.

сом смотрит на нас, как на каких-либо зверей, им, наверно, кажется, что мы какие-то звери, что ли, но мы честнее их. Ну, неважно, напиши куму самый горячий привет и поцелуй его и Федорова крепко за меня. Живите дружно и не поминайте меня лихом, ибо я никому вреда не сделал. Ну, прощайте, уже 12 часов ночи, и я подхожу к петле, на которой одарю вас последней своей улыбкой. Прощайте, Алеша, Митя, Анатолий и все добрые друзья,—всех вас крепко обнимаю, жму руку и горячо целую последним своим поцелуем... Писал бы больше, да слишком трудно, так как скованы руки обе вместе, а также времени нет—подгоняют. Конечно, прежде, чем ты получишь это последнее письмо, я уже буду в сырой земле, но ты не тужи, не забудь Анне Ильченко передать привет. Прощайте все, и все дорогие и знающие меня. Напиши Богуславскому и остальным. Последний раз крепко целую вас.

Григорий Федорович Ткаченко-Петренко. 3 сентября, 12 часов ночи. Г. Екатеринослав. 1909 год».

Так закончилась екатеринославская трагедия.

А затем началась по поводу нее описанная телеграфная переписка между Столыпиным, Сухомлиновым и Каульбарсом, посредством которой Столыпин старался спихнуть с себя вину в этих восьми казнях, а Каульбарс оправдывал себя и пытался успокоить столыпинскую совесть, которая и без того оставалась вполне спокойной и холодной. Ведь висельная эпопея для него не составляла новости. Он сам был ее главным героем и вдохновителем в течение всего времени своего премьерства. начиная с самого разгона 1-й Государственной Думы и указа о военно-полевых судах.

XV

В этом жестоком деле трагедия подсудимых не была исчерпана приговором и последовавшим наказанием. Еще до суда. во время взрыва в Екатеринославской тюрьме, 27 апреля 1908 года часть из них была перебита, а часть ранена.

Вот описание этого события, появившееся в екатеринославской газете «Южная Заря», № 597, от 1 мая 1908 года, в статье под заголовком «В тюрьме».

«Как известно, третьего дня в губернской тюрьме произошло трагическое событие, жертвой которого сделалось около шестидесяти человек.

«Около часу дня в тюрьме раздался страшный взрыв, который был слышен во всех концах города. Оказалось, что взрыв

произошел около северной стены тюрьмы, примыкающей к помещению 4-й полицейской части, где размещаются конные стражники. Стена в этом месте имеет толщину около двух с половиной аршин. Только этим можно объяснить, что стена уцелела. Но все же сила взрыва была такова, что она дала трещину, и со стороны 4-й части вывалились кирпичи. Стекла в помещении конных стражников выбиты. Остается до сих пор не выясненным, при каких обстоятельствах произошел взрыв...

«При взрыве среди надзирателей, сопровождавших арестантов на прогулке, произошло смятение, воспользовавшись которым, арестованные разбежались в разные стороны...

«Полагая, что стена взорвана, часть арестованных бросилась к месту взрыва, но здесь увидели, что стена осталась невредимой. Тогда двое из них взобрались на крышу. Они были замечены одним из часовых, который произвел в них несколько выстрелов. Оба были убиты...

«Во время взрыва в дежурном помещении был караул 133-го Симферопольского полка, который немедленно явился во двор. Увидя убегавших арестованных, солдаты открыли по ним стрельбу...

«Во дворе в это время было около тридцати арестованных. Многие из них падали на землю и притворялись мертвыми. Из тридцати душ, находившихся во дворе, было убито двенадцать.

«Было произведено несколько залпов в окна, вследствие чего в камерах было также много убитых и раненых.

«Немедленно тюрьма была оцеплена войсками. Прибыли военные и гражданские власти, которые приступили к следствию.

«Всего убито двадцать девять арестованных, ранено тридцать, из которых один тюремный надзиратель Азаров. С трех часов дня начался обыск во внутренних помещениях тюрьмы. Обыск продолжался до поздней ночи» [1].

К этому надо прибавить, что солдаты были введены в коридоры и все камеры тюрьмы, и произошло жесточайшее избиение прикладами. Кроме убитых во время этой истории и раненых, еще больше было очень жестоко избитых. Из раненых и избитых некоторые умерли. Других избиение и раны привели к туберкулезному процессу. Сколько было убитых, раненых и пострадавших при избиении из участников описанного

---

[1] Из приведенной статьи выпущены места с ссылками на заведомо недостоверный источник—полицейский рапорт,—в которых передаются версии о том, откуда взялась бомба, и сообщается, что возле трупов были найдены два браунинга, а в двух камерах две фитильных бомбы.

процесса, установить трудно, но все же те из них, которые были в Екатеринославской тюрьме 27 апреля 1908 года, подверглись по крайней мере избиению.

Сейчас нет возможности ни проследить, ни перечислить те моральные и физические страдания, которые в последующие годы пришлось перенести осужденным в каторжных тюрьмах и ссылке. Нужно вспомнить только, что все те, кто отбывал каторгу сроком более восьми лет, были освобождены только в 1917 году Февральской революцией, когда уже не было в живых главных виновников их страданий. Столыпин был убит. Лопатин и Курочкин умерли. Судьба генерала Каульбарса автору совершенно неизвестна, но во всяком случае он тоже давно сошел со сцены. А очень многие из осужденных по этому делу живы и сейчас. Каторга и ссылка закалила их характеры, и они работают теперь на разных постах, и при этом очень многие в родных местах Донецкого бассейна.